Ведун. (Перевод Т. Воронкиной)

 Он был из чужих краев; по годам — должно быть, за сорок, взгляд исподлобья. Документы в порядке. Фамилию его знали разве что в сельсовете. Для ребятишек он был дядей Андрашем, те, кто постарше, звали его просто по имени. Считалось, что не след соваться в чужие дела; живет себе человек на селе, и ладно.

 А вернее сказать, он и не жил на селе. По первости переночевал в сельсовете, а на другой день — весенняя страда была в разгаре — его определили сторожем. Он стерег посевное зерно — укрытые брезентом мешки — в часе ходьбы от села. Работы в хозяйстве было невпроворот, и новый человек пришелся ко двору; война скосила многих мужиков, а бабу сторожем не поставишь. И то, что он чужак, тоже пришлось кстати: для себя воровать не станет — спрятать некуда, а другие ему не сваты-кумовья, значит, никому не дозволит разбазаривать драгоценное зерно. Неизвестно, кто он и что он. Да кто бы ни был: из разбойников-то и выходят лучшие стражники. Не говоря уж о том, что старик Герасим теперь от своих обязанностей караульщика освободится: старик-то он старик, а на селе разъединственный плотник. Хлев совсем было развалился, и его принялись приводить в порядок, ну, а тут в аккурат и Герасим опять за топор взялся. Стропила вытесывал, а главное, обучал ремеслу молодых, да и тех было немного: которые и кол-то заострить толком не умеют.

 Службу свою чужак нес исправно, все шло как положено, однако же сельчанам он не по нраву пришелся: все-то норовит в сторонку отойти да в одиночку в поле остаться. Нет чтобы с кем разговор завести, нет чтобы поспрошать, не приютит ли его кто у себя в дому после того, как в поле стеречь станет нечего; нет чтобы скупо или с прибаутками — все одно как, но рассказать про себя, кто ты да что ты, и всю свою подноготную выложить… А этому вроде бы любо бирюком сидеть. Вздумай он прихвастнуть, его бы наверняка за глаза высмеяли, зато полюбили бы, захоти он поплакаться — пожалели бы. А так людям не нравилось, что он знай себе посиживает то на мешке с зерном, то у костерка; не спроси его, так и просидит молчком, а спросишь — ответит односложно.

 Вот потому и стали на селе поговаривать: кому, мол, какое дело, живет человек, ну и пусть себе живет. Через неделю всякий интерес к нему пропал. Те, кто виделся с ним, попривыкли к новичку, а кому не подворачивалось дела поблизости от его шалаша, те и думать забыли, что он тоже вроде бы односельчанин. А ведь в первые дни сколько о нем разговоров было! Еще бы: чужой человек на селе — целое событие.

 Человек этот участью своей напоминал сплавное бревно, застрявшее у берега. Пока еще крепкое, но со временем иструхлявеет. А может, и снесет его первым же паводком. Для строительства оно не годится, на дрова — тоже, слишком отсырело, от плота отстало, а к берегу не пристало; ни друг, ни недруг — примечают его, да не привечают. Через неделю ни у одной из вдовых баб, даже какая постарше, и в мыслях не было залучить его в дом примаком. Уж больно не похож он был на мужика, какой мог бы пригреться у печи в доме. Ел все больше всухомятку или стряпал из муки затируху на сале, а ведь стоило ему только заикнуться, и любая баба — необязательно вдовая — не сочла бы за труд, собирая обед для трактористов, послать и ему горячего. Уж настолько-то они разумели: им хорошо, они тут родились и живут здесь по доброй воле, и вздумай они уехать отсюда, душа затоскует, назад запросится. Каково же жить здесь не по своей воле, а по какой-то непонятной и жестокой необходимости, один как перст и на исходе жизни! Что чужак попал сюда не по своей воле — это на селе, конечно, понимали.

 Людей утешала лишь мысль, что пришелец не иначе как лихой человек, тому все приметы налицо: и нелюдимость его, и брови густые, и взгляд исподлобья, и глаз черный. Хотя если присмотреться повнимательнее, то нетрудно бы и заметить, что из-под лохматых бровей чужака взирают на мир глаза голубые, правда, взирают мрачно.

 Словом, люди понимали, что чужак не по своей охоте находится тут, а вот почему — этого бы даже он сам не сумел выразить словами. Где-то, каким-то образом над ним учинили какую-то большую несправедливость — наивеличайшую, когда правда становится неправою и давит самого человека. А виновный — не повинен, он — жертва, и одно у него желание: подобно раненому зверю залечь в чащобе и отлеживаться там покойно, тихо, одиноко.

 На селе к нему привыкли и вроде как перестали замечать. Сторожит в поле, ну и ладно.

 И только старый углежог Мишка не знал, что это за человек явился со стороны. Пришельца он еще в глаза не видал, да и слухи до него доходили с опозданием, потому как Мишка далеко в лесу жег уголь.

 В субботу под вечер он возвращался домой на телеге, взгромоздясь на большущий ящик угля. Поравнявшись с шалашом из березовых веток, он попридержал лошадь.

 Шалаш — сразу было видно — построен не ахти как ловко, зато огонь в костерке полыхает весело. И незнакомец у костра казался человеком, с которым очень даже славно потолковать. Углежогу в лесу целую неделю и словом перемолвиться не с кем, разве что с конягой поговоришь.

 — Здравствуйте, — приветствовал он незнакомца, не слезая с телеги.

 Тот ответил на приветствие, и тогда старик неторопливо сполз с ящика, пеньковую веревку-вожжи перекинул через спину лошади, подошел поближе и опустился на корточки у полыхающего ровным жаром костра. Вытащил из кармана гимнастерки газетную бумагу, аккуратно разрезанную на четвертушки. Один листок дал незнакомцу, другой зажал в своих узловатых пальцах. Остальные бумажки спрятал обратно в карман гимнастерки. Затем из кармана штанов выудил щепоть махорки — больше, чем надо на одну добрую закрутку. Протянул незнакомцу, а тот подставил свой газетный клочок. Мишка снова запустил руку в карман и сыпанул табаку на свою бумажку.

 Оба скрутили цигарки. Мишка возился со своей обстоятельно: медленно сворачивал закрутку, не спеша водил языком по кромке, чтобы как следует разглядеть незнакомца. А тот, взяв с краю костра обугленную веточку, выжидал, как и подобает, покуда владелец махорки не прикурит первым.

 Старик сделал две-три затяжки, молча приглядываясь к чужаку, и лишь потом заговорил:

 — Как тебе здесь, хорошо?

 — Хорошо.

 Мишка огляделся по сторонам: нет ли где пенька присесть. Пней поблизости не было, поэтому, устав сидеть на корточках, он опустился на колени, как и хозяин шалаша.

 — Может, поедешь со мной уголь жечь? — спросил он, ткнув пальцем в сторону телеги.

 — Куда мне ехать, за меня другие решают, — мрачно буркнул незнакомец.

 — А ты парень послушный, куда ни пошлют, идешь?

 — Понимай как знаешь.

 Росточка старый углежог был небольшого, а стоя на коленях и вовсе казался карликом: этакий безобидный гном с седой, отливающей в желтизну бородою и незамутненно-голубыми глазами. Колючий ответ незнакомца не осердил его, Мишка и сам при случае ответит как отрежет.

 — Я смотрю, ты заправский сторож: на честного человека кидаешься ни за что ни про что, а от жулика небось улепетнешь со всех ног.

 — Может, улепетну, а может, огонька поднесу.

 — Дело нехитрое.

 — Да уж чего проще.

 — Эта работа, — углежог опять ткнул в сторону повозки, — сноровки требует, не то что мешки с добром сторожить.

 — Согласен.

 — А вот ты сумел бы уголь жечь?

 — Понадобится — сумею.

 — Выходит, тебе уже доводилось этим заниматься?

 — Доводилось смотреть, как другие делают, — язвительно процедил незнакомец.

 — Смотреть — одно, самому делать — совсем другое. Я спрашиваю: сумел бы ты жечь уголь?

 — Кое-как — сумел бы. Но мог бы и научиться у того, кто по-настоящему умеет. Для тебя это ремесло?

 — Ежели учесть, что каждую весну я один тут жгу уголь, то, выходит, это мое ремесло. Но может статься, из меня такой же углежог, как плотник. Дом у меня теплый, а значит, вроде бы хороший. Правда, окна прорублены вкривь да вкось. По мне так сойдет, а другому смех смотреть, — весело проговорил Мишка.

 Незнакомец ответил дружелюбным взглядом, а старик, уловив перемену, спросил напрямую:

 — Что ты мне ответишь, ежели спрошу: согласен со мной уголь жечь?

 — Если пошлют, я соглашусь.

 — Тогда собирайся. Завтра на обратном пути прихвачу тебя с собой, да и вся недолга. Конечно, коли есть на то охота.

 — Какая там охота… Но лучше уж… словом, уголь жечь я согласен. А у тебя такая власть, что дело это ты запросто уладить можешь?

 — Никакой у меня власти нет, слава богу. Да тут ее и не требуется. Уголь жечь — это тебе, брат, не бумагу марать, тут и без блата обойдется. Перо в руке как ни держи, оно все норовит другому подмигнуть да на сторону сбежать, а пила, топор, лопата — что верная зазноба: не противятся, коль покрепче жмешь, и никуда от тебя не сбегут. Значит, считай, что я тебя назначил углежогом. Будем работать на пару, я — за начальство, а ты — рабочая сила. Тот, кто сейчас у меня в напарниках, глядишь, еще магарыч поставит, ежели его на твое место определят, караульщиком. Работничек из тех, кто за любое дело берется, лишь бы только ничего не делать да поспать всласть.

 — Выходит, под твоим началом про сон и думать забудь?

 — Это уж когда как. Ты ведь небось знаешь, что уголь и по ночам жгут?

 — Такую премудрость даже я знаю.

 — Вот видишь! А теперешний мой напарник… я таких стариков не встречал. Ему только в сторожах и место: дрыхнуть горазд, всех воров проспит, хоть самого на телегу грузи вместе с тем добром, что он караулить приставлен. Ладно, это бы еще полбеды. Но ведь он, даже когда не спит, палец о палец не ударит. А тут и всех-то делов: подсыпал лопату-другую в том месте, где огонь пробился, и заваливайся опять на боковую. Но этому и заваливаться без надобности, коли он не поднимался.

 — Вот что, — раздраженно проговорил чужак, — лучше уж ты не бери меня в напарники.

 — Да погоди ты, не ершись попусту! Никакой я тебе не начальник, ты что, шуток не понимаешь? По ночам за углем буду присматривать я, а ты спи себе. Но уж зато утром я хочу спать спокойно и знать, что ты не подведешь. На таких условиях согласен?

 — Сказано тебе: самовольно я никуда ни ногой. Пошлют — пойду.

 — Неужто я тебя не уломал? По-моему, все проще простого: ночь дежурю я, с утра до полудня — ты. После обеда вместе едем в лес за дровами.

 Чужак молча пожал плечами.

 — Вскрываем кучу под вечер, аккурат и похолодает, да и в потемках лучше видно, ежели где еще головешки тлеют. Новые кучи я обычно закладываю по понедельникам. Ну как, согласен?

 Незнакомец молчал.

 — Давай попробуем. Если мы с тобой не уживемся, должность караульщика от тебя никуда не уйдет. А углежогам платят больше.

 — Я не против.

 Мишка сощурил глаза. Устав стоять на коленях, он опять присел на корточки; склонил голову набок, отчего его изжелта-седая, прокуренная борода встала торчком.

 — Дрова пилить умеешь? — принялся он испытывать будущего напарника.

 Незнакомец ворошил веткой костер.

 — Тебя спрашивают: пилить-то любишь?

 — Нет!

 — Тогда все в порядке! — рассмеялся Мишка. — Потому как и я не люблю. Ну прямо нож острый. Вся моя натура работе противится, а вспомнить, я два дня кряду отродясь не отдыхал. Вот так-то, брат. Трудиться — трудись, да смотри не надорвись, — певуче произнес он.

 Незнакомец кивнул и улыбнулся.

 — Договорились! — подвел черту старик. Он снова вытащил из кармана гимнастерки нарезанную бумагу и из-за неудобной позы с трудом втиснул руку в карман штанов. Они закурили по новой.

 — Семья-то есть у тебя?

 Незнакомец словно не слышал вопроса.

 — Я имею в виду: дома у тебя, на родине. Жена, сын-дочь имеются?

 Чужак уставился перед собой не мигая, точно желал проникнуть взглядом в раскаленные недра земли.

 — Ладно, у меня ведь и в мыслях не было тебя выпытывать. Да и что тут словами скажешь… — Он запустил узловатые пальцы в бороду, явно раздумывая, как бы перевести разговор на другое. — Ты мне только вот что скажи, брат, — заговорил он чуть погодя. — Одно я про тебя хочу узнать, но сей момент, с места не сходя: что, характер у тебя не склочный?

 Что-то вроде улыбки промелькнуло на лице незнакомца.

 — Каждый всегда другого считает придирой.

 — Святая правда! Вот ты спроси мою жену: «Что за человек Мишка?» Это я, значит. Ну она тебе и наговорит: «Лодырь. Деньги все как есть пропивает. Никакого с ним сладу нету». При том, что дома от меня и слова не добьешься, зато она за двоих языком работает. Нудит, зудит, как тупая пила. Ну а я знай себе помалкиваю — ей в отместку. Когда невмоготу становится, я — бац на боковую! Сапоги скину, повернусь лицом к стенке и пошел задавать храповицкого; это верней всякой пилежки действует. Конечно, ежели в доме спать приходится. Потому как зимой, к примеру, я на конюшне сплю, на зиму я к лошадям приставлен.

 — Не худо дело.

 — Не то что не худо, а самое что ни на есть наилучшее. Да и выгодное, я тебе скажу. Ежели лошадь имеется, то и дров, и корма домой вовремя завезешь. Ну, и слава по селу о тебе идет: «Какой работящий наш Мишка!» Мать ты моя родная… «Ни днем, ни ночью не дает себе роздыха!» Вот так-то, брат!.. Знамо дело, уход за лошадью требуется. Кормить, поить — все в положенный час, тут я слежу строго. Но скребницей пройтись, лоск навести — это уж увольте; этим пусть занимается тот, кому лошадь запрягать. Вычистит — хорошо, не вычистит — и так сойдет. Вот и стала лошадь что старая попона: хлопнешь по спине ладонью, и пыль столбом. Не нравится — не хлопай и вообще скотину не бей. Верно я говорю?

 — Не знаю.

 — Вот эта коняга, к примеру, — он обернулся к лошади, спокойно стоявшей позади, — ни кнута, ни тумаков не пробовала. Ежели выведет из терпенья, я только ейную мать недобрым словом помяну: для умной лошади этого и достаточно, хозяином к ней не дурак приставлен.

 Незнакомец кивнул. Ему нравился этот словоохотливый старикан, и он рад был избавиться от должности караульщика: не работа, а безделье, и думы неотступно одолевают.

 Мишка вот уже годы был единственным и, можно сказать, признанным на селе углежогом. Он занимался этой работой с оттепели и до уборочной страды, но два-три раза за «сезон» у него менялись подручные. Сама работа была не из легких, да и парней, кого помоложе и покрепче, сюда не заманишь: кому охота с утра до вечера с углем возиться, когда и вечера все заняты, даже субботние. Если в кучах, присыпанных землей, головешки еще не прогорели, то их и субботним вечером не оставишь без присмотра. Что же это за жизнь? Разве можно чувствовать себя человеком, если даже на субботу домой не выберешься, а значит, и в баню не сходишь! Сперва чтоб помыться, затем, плеснув на раскаленные камни холодной водицы, как следует попариться, затем, облачась в чистое исподнее, с раскрасневшимся, блестящим от пота лицом, прямо как есть — в рубахе и подштанниках — прибежать домой, опрокинуть стопку, а то и две, затем одеться честь по чести и посиживать дома — если зима, а летом сесть на завалинке да по сторонам глазеть. К соседу наведаться тоже недурно или под окошком у знакомого постоять и с каждым прохожим задорным словцом перемолвиться: кому шутку бросить, кого усмешкою подначить, — без такого удовольствия и пожилому не обойтись, не говоря уж о тех, кто помоложе. Ежели человек даже субботнего вечера лишен, тогда, выходит, медведю и то лучше живется, медведь в тайге по крайности хоть сам себе хозяин. Отрезанный от дома человек ничтожнее белки, живущей на дереве; белка, к примеру, заранее чует дождь и посвистыванием оповещает об этом своих собратьев и прочих таежных обитателей. Человек же и повинность в тайге только ради того отбывает, чтобы затем домой воротиться. Парню, у которого на селе зазноба осталась, небо с овчинку покажется, ежели целую неделю на отшибе бобылем сидеть…

 Так что Мишке приходилось соглашаться на любого подручного без разбора. Однако ему самому тоже не хотелось по субботам в тайге торчать, поэтому он старался подгадать так, что с пятницы закладывал дрова в яму, по субботам с утра присыпал их землей — как положено, толстым слоем, иногда даже с лихвой, но поджигал лишь в воскресенье под вечер, а то и в понедельник.

 Дрова должны были гореть медленно — тлеть, иначе из них получались не угли, а пепел. Иногда случалось так, что выгорал уголь только к субботе. В таких случаях Мишка лишь таскал дрова и складывал их в ямы, но не поджигал всю неделю — иначе уголь был бы готов аккурат к воскресенью. Если к нему приставали с расспросами, когда, мол, будет уголь, у него всегда был наготове ответ: «Почем я знаю, мать вашу?.. Это вам не фабрика: бывает, яму вскроешь, а там заместо угля одна зола!..»

 Вот и случалось иногда, что в самый разгар страды кузнецы по два-три дня простаивали без дела. Конечно, углежога с работы не выгоняли: кем его заменить? Но он и сам чувствовал себя неловко из-за проволочки. А подыскать подручного, который бы согласился по субботам быть на подхвате, никак не удавалось. И без того на эту работу шли распоследние лодыри, кто норовил убраться от начальства с глаз долой, либо те, кому по душе было на досуге мастерить какие-нибудь поделки, либо же охотники поспать. Конечно, был выход из положения: субботней ночью присматривать за углем в одиночку, но на это Мишка не согласился бы ни за что на свете.

 Ремесло углежога было не в чести, и это сказывалось даже на убогости жилья. А ведь избушка когда-то была построена добротно. Неподалеку, на дне пади, бил родник с чистой ключевой водой. Пол в доме был настлан из плах, положенных на толстенные сосновые бревна на высоте пяти ступенек от земли. Стены и потолочные балки тоже простояли бы хоть сто лет, конечно, если бы кто-нибудь взял на себя труд заново проконопатить пазы свежим мхом да надрать дранки, чтобы крышу починить, потому как крыша протекала. И ведь дерево подходящее нашлось бы, и дранку драть — дело нехитрое, но заброшенный дом быстро приходит в негодность, вроде того, как хиреет без любви человек. К дому были пристроены и сарай, и конюшня, правда, порядком обветшалая, но даже той ее части, что пока еще уцелела, хватило бы для двух-трех лошадей. Вот только человека не находилось, кто полюбил бы этот дом в десяти верстах от села.

 Лишь здесь, в тайге, вплотную обступившей глубокую падь, средь присыпанных землею и равномерно тлеющих угольных куч стало очевидно, как хорошо подходят друг другу Мишка и странноватый чужак.

 У Мишки была привычка просыпаться за ночь раза четыре, не меньше, и всякий раз он при этом выходил проверить, как горит уголь. Лопата всегда стояла наготове, воткнутая в землю возле угольных куч всегда в одном и том же месте, чтобы не нужно было ее искать в потемках. Если из-под земляной присыпки выбивались языки пламени, углежог тотчас же сбивал огонь, бросив несколько лопат земли из канавы, опоясывающей яму. Тем самым беды удавалось избежать, дрова не превращались в золу, но медленно, равномерно обугливались.

 Эти ночные проверки Мишка ставил себе в большую заслугу и был совершенно прав. Ведь не уследи он, и наутро вместо угольных куч полыхали бы костры; все труды, да и дровяные заготовки — каждая куча вмещала пять телег дров — пошли бы насмарку. Лишь к рассвету Мишка проваливался в глубокий сон и отсыпался все утро. Желтоватый свет, просачивавшийся сквозь запыленное оконце, ничуть не нарушал его покой. Завернувшись в овчинный тулуп, он сладко похрапывал на деревянном топчане. Бороденка его по цвету не отличалась от овчины, и лишь по сопению и храпу можно было догадаться, в какую сторону головой лежит спящий. Спал Мишка не раздеваясь, даже лапти и те не снимал.

 Андраш спал всю ночь без просыпу и в исподнем; одеждой он укрывался. Каждый вечер он устраивал себе на топчане ложе из трех набитых сеном мешков. К утру мешки сбивались, расползались в стороны, и снизу, сквозь щели в толстенных половицах тянуло холодом. Должно быть, потому он и просыпался спозаранку. А может, эта привычка укоренилась в нем еще с прежней жизни, равно как у Мишки, который привык то и дело вскакивать среди ночи. Ведь на попечении Мишки, сколько он себя помнит, всегда были лошади, коровы, овцы. Что же касается чужака, то при регистрации в сельсовете было записано: «Первоначальная профессия — пекарь».

 Бывший пекарь, поднявшись спозаранку, первым делом наведывался к угольным кучам. Но благодаря Мишкиному усердию там всегда был полный порядок. Затем Андраш, подхватив ведра, спускался к роднику, журчащему в самой глубине распадка. Вода там была холодная и чистая, правда, с некоторым привкусом хвои, поскольку ключ пробивался сквозь переплетенные корни огромной красной сосны. Родник прятался в густой тени, средь зарослей смородинных кустов и обступивших его деревьев, и кристально прозрачная вода казалась почти черной.

 Набрав полные ведра, Андраш поднимался вверх по уютной, пологой прогалине; такая прогалина в сумрачных таежных чащобах всегда кажется приветливым, уютным островком, здесь даже у дыма был какой-то особенно приятный запах.

 Обычно он ходил за водой и по второму разу, чтобы можно было не скупиться при стряпне, умывании и уборке хибары, что также считалось одной из его утренних обязанностей. Не то чтобы Мишка прямо распорядился, но если Андраш этого не сделает, пол так и останется неметеным. Мишка эту «бабью работу» на дух не принимал. И наконец, Андраш спускался в распадок по третьему разу: наполнить свежей водой колоду возле источника. Если лошадь ночевала в конюшне, то он вел ее вниз на водопой и задавал ей сена. Но по большей части лошадь всю ночь бродила на свободе. С весны и до зимы волки словно бы переводились в округе, и можно было без опаски выпускать умную скотину на волю. И человеку сподручнее, да и лошадь пасется в свое удовольствие. Несчастную конягу оставляли на конюшне лишь в том случае, если на утро намечалась ездка за дровами. Тут последнее слово было за Мишкой, ведь он при надобности мог играючи отыскать лошадь в тайге, не то что чужак.

 Натаскав воды, сколько требовалось по хозяйству, Андраш разводил огонь в железной печке и усаживался на верхней ступеньке крыльца чистить картошку. По одну сторону от себя ставил ведро с мытой картошкой, по другую — чугунок; мешок с картошкой клал у ног. Начистив полный чугунок картошки, он снова мыл ее, на цыпочках пробирался в дом и ставил чугунок на огонь.

 Мишка в эту пору еще спал. Андраш, управившись по дому, снова обходил угольные кучи; впрочем, он не забывал о них даже за домашними хлопотами и, если возникала нужда, оставив все дела, спешил забросать землею пробившиеся языки пламени.

 Обследовав угольные кучи, он принимался за уборку: брызгал пол водою и тщательно подметал березовым веником. Когда поспевал завтрак, Андраш будил Мишку.

 Старый углежог садился на постели, тыльной стороной руки протирал глаза и произносил неизменную утреннюю прибаутку:

 — Вставайте, ребятишки, поспели пироги да пышки!

 Она заменяла ему утреннее приветствие, молитву и даже умывание.

 Пока мужики уписывали картошку, в котелке вскипала вода для чая, который заваривался на духовитых листьях черной смородины.

 Харчи и хлеб они получали два раза в неделю; доставлять «подкрепление» должен был возчик, которого отряжали за готовым углем, если, конечно, тот не забывал об этой своей обязанности. Если же возчик попадался забывчивый, углежогам приходилось пробавляться одной картошкой — в начале недели Мишка прихватывал ее целый мешок. Впрочем, возница, стараясь загладить свою вину, по возможности присылал верхового, который привозил хлеб, испеченный Мишкиной женою. Для Мишки — из их собственной муки, для чужака — из муки, полученной от колхоза авансом.

 Молоко доставлялось в двух оплетенных берестой горшках: Мишке — от собственной коровы, чужаку — с колхозной фермы и тоже в счет аванса.

 Сверх того Мишкина жена присылала соленых огурцов, простокваши, а иногда масла или чуток мясца. Однако всякий раз строго-настрого наказывала: мол, лакомый кусок не про чужой роток, а только для Мишки. Посыльный — как правило, мальчонка-подросток, на седьмом небе от радости, что удалось проехаться верхом, — передавал этот наказ с некоторой неловкостью, а бывалый возчик — безо всякого стеснения.

 — Ясно, ясно, — подмигивая, говорил в таких случаях Мишка. И тотчас же первым делом выставлял на стол мясо. Если харчи привозил мальчонка, он и того усаживал за стол. — Надо съесть поскорее, покуда не испортилось.

 Однако ни ночные бдения Мишки, ни утренние хлопоты Андраша, ни братский дележ еды и табака сами по себе не привели бы к дружбе. Все это было вполне естественно. Ели сообща, так же как сообща заготавливали дрова в тайге. Естественно было, что, когда закладывали дрова в ямы, Мишка командовал, а чужак повиновался. Но вскоре в их отношениях можно было подметить нечто большее, чем естественную сработанность, и эта новая черта становилась особенно заметной, когда они в тайге грузили дрова на телегу.

 Бревна приходилось распиливать на чурбаки трехметровой длины, иначе они не помещались в угольной яме. И как во всех северных лесах, нижняя часть ствола ближе к комлю была гораздо толще верхней.

 Мишка на свой лад очень жалел этого одинокого и чужого в здешних краях человека. А чужак считал, что он сильнее низкорослого Мишки, и оба они старались ухватиться за толстый конец бревна. Тут между ними возникало своего рода соперничество. «Берись с другого конца!» — покрикивал Мишка, обращаясь к Андрашу, а то Андраш говорил Мишке эти же слова, в зависимости от того, кому из них удавалось обойти напарника и первым ухватиться за край ближе к комлю. Тогда-то и зародилось меж ними некое новое чувство, которому еще не определилось названия, однако оба они делали вид, будто и не замечают этих связующих нитей.

 Мишкина неугомонность по ночам, обыкновение Андраша вставать ни свет ни заря и даже различие в привычках также помогали им наилучшим образом притереться друг к другу.

 — Мать твоя… видно, сама поспать любила и тебя к тому приучила! — Мишка густо пересыпал свою речь упоминаниями о матери, без этого она и не получалась бы у него связной. — Ах, мать твою!.. Опять навалился на пилу, как дурной мужик на соседку!

 — Я отвлекся.

 — Вот то-то и оно! Отвлекся он, видите ли! Добро бы не умел пилить, так и ладно. Тогда бы и я не ругался, а принялся бы учить тебя, и дело с концом. Но ведь ты же умеешь! Пять минут тянешь ровно, будто ангел на крыльях порхает, а потом вдруг навалишься на пилу, так что и тебя вместе с ней тащи.

 — Забылся, знаешь ли…

 — А ты не забывайся, мать твою… экий забывчивый выискался!

 Несколько минут работа шла слаженно и дружно. Затем Мишка внезапно бросал пилу.

 — Ну вот, снова здорово! Что с тобой сегодня?

 — Ничего.

 — О чем ты думаешь, понять не могу, но только не о работе.

 — Не знаю.

 — За уплывшую удачу на пиле зло срываешь?

 — Какая там удача…

 — А может, представил, будто недруга за глотку взял?

 — Чего этим добьешься!..

 — Тебе виднее. Должно быть, ты все-таки много чего лишился — большего, скажем, чем я мог бы лишиться. У меня и было-то нажито за всю жизнь одна коровенка. Правда, и без коровы всего лишь раз бедовать пришлось, неполных три месяца. Как я погляжу на тебя, наверное, и ты был богатей вроде меня. Или не так?

 — Пекарем я был.

 — Верно, пекарем, ты говорил! С топором ты и сейчас управляешься ловчее, чем с пилой. Небось колол дрова в пекарне?

 — Конечно. Пока работал пекарем…

 — А кем тебе еще доводилось работать?

 — На стройке работал. Потом на прокладке дороги. Ну а после пошло всякое-разное.

 — Всякое-разное? Вижу, из тебя немногое вытянешь… Ну ладно, Андраш, берись за пилу и старайся думать о деле.

 Так прошла первая неделя. В субботу, еще в полдень, Мишка поинтересовался:

 — Так как же мы с тобой сегодня будем? — И поскольку чужак не ответил, он продолжил свою мысль: — Я рассчитываю сегодня с вечера домой податься.

 — Конечно, о чем речь!

 — Завтра с утречка опять буду здесь, а после ты смотаешься в село. Горячей воды у нас в бане и на тебя хватит. А к вечеру возвращайся. Ну как, согласен?

 — Ладно.

 — Ну а к вечеру-то обернешься?

 — Обязательно.

 — Потому как если ты к вечеру не поспеешь, то лучше уж я запалю кучи в понедельник, а в село тогда мы поедем вместе, но сей момент, не откладывая.

 — Да не беспокойся ты. Я ведь на таких условиях и подряжался. Поджигай дрова и езжай себе на здоровье.

 — Но только, чур, не подводить, смотри у меня, возвращайся к вечеру!

 — Вернусь, никуда не денусь. Что мне делать на селе? Переночевать и то негде.

 — Переночевать ты, положим, мог бы и у меня. Да и в другие дома приняли бы, только захоти. За чем дело стало? — Он лукаво подмигнул напарнику. — Бабенку еще не присмотрел себе?

 — Не валяй дурака!

 — А что в моих словах дурного? Молодецкая пора для тебя, конечно, миновала, но какая-нибудь толстозадая вдовица охотно взялась бы стирать твои портки.

 — Я сам себя обстирываю.

 — Дитё сам себе не сделаешь. А тут нашлись бы охотницы…

 Чужак отмахнулся.

 — Вон что! Не нравятся тебе наши бабы?

 — Нравятся не нравятся, не могу сказать, я их не разглядывал.

 — У тебя что, где-то семья осталась?

 — Нет.

 — Ну жена-то хоть есть?

 — И сам не знаю, — вырвалось у чужака, и он поспешно перевел разговор на другое: — Обед готов, пошли поедим.

 — Мне обед без надобности, дома поем. Небось чем-нибудь да накормит старая хрычовка.

 — Я ведь на двоих стряпал.

 — Ничего, на ужин тебе останется. Тогда, значит, я сейчас поджигаю, а после запрягу и — айда, к дому! Но к рассвету, имей в виду, явлюсь как миленький. Ближе к полуночи взгляни разок, как тут да что, и хватит. Ничего страшного за ночь не случится, а я еще до света вернусь.

 Солнце успело взойти высоко, было, должно быть, часов десять утра, когда лошадь остановилась у избушки. Мишка снял с телеги мешок картошки, хлеб, горшки. Обе руки у него были заняты, пришлось толкнуть дверь локтем.

 — Ну, здравствуй! — Жмурясь, он всматривался в полумрак избы. — Эй, Андраш!

 Никакого ответа.

 Мишка сбросил мешок на пол, поставил на стол посуду, положил хлеб, затем повернулся и через раскрытую дверь посмотрел на угольные ямы. Там было все в порядке, над ямами, присыпанными землей, курился слабый дымок. Он увидел и чужака. Тот как раз появился на краю распадка с двумя полными ведрами воды. На нем была чистая рубаха.

 — Где ты пропадаешь? Поворачивай оглобли да поживей. Горячей воды в бане полно.

 — Я уже помылся.

 — Как это? Холодной водой?

 — А печка на что?

 — Ясно. Да и рубаха на тебе вроде бы…

 — Выстирал с вечера, а к утру она просохла.

 — Но баня-то! Попариться — совсем другое дело!.. Эх ты!

 — К чему в чужом доме мешать?

 — Ну, как знаешь! — коротко, обиженно бросил Мишка, который из-за бани для чужака рассорился с женой. — Уж больно ты гордый!

 Собственно говоря, перепалка началась не из-за самой бани, а из-за Мишкиного наказа: «После бани выставишь на стол четвертинку да ужин честь по чести, как гостю полагается».

 — Вода еще не остыла, дома тебя ждут, — еще раз повторил он. — А не хочешь — как хочешь.

 — Горячая вода в хозяйстве всегда пригодится, — сказал Андраш и, чтобы перевести разговор на другое, добавил: — Я направил пилу.

 — Мог бы и меня дождаться.

 — Сейчас принес воды под точильный камень. А точить я тебя дожидался.

 — Сперва поедим, — распорядился Мишка, почти не в силах скрыть облегчение. Конечно, дома все прошло бы без сучка без задоринки, тут можно бы и не опасаться. Зато теперь он избавился от тайного беспокойства: вдруг да напарник все же не вернется в срок? Ведь он, Мишка, готов был сбежать без оглядки, отправиться домой пешком, лишь бы не оставаться одному на ночь.

 Он никому не признавался, что боится один. Чего — он и сам не знал, но боялся.

 Андраш затолкал под топчан мешок с картошкой.

 — Давай присаживайся к столу!

 Мишка открыл обвязанные холщовой тряпицей горшки и кастрюльки, нарезал хлеб.

 На печке еще не остыл свежезаваренный красноватый чай из шиповника. Андраш разлил его по кружкам и тоже сел за стол. Оба принялись за еду, хотя Мишка наелся дома и сейчас лишь из уважения к напарнику делал вид, будто не отстает от него.

 — Ну что ж, — сказал он после завтрака, — пора и за дело. Направим пилу и топоры, и на сегодня шабаш. Надо хоть одну ночь в чистой рубахе поспать.

 И то верно: на другой день от грязной работы, от угольной пыли рубахи враз теряли свою свежесть, а к концу недели и вовсе делались черными.

 В следующую субботу Мишка не стал зазывать товарища в баню: он с досадой вспомнил, что его ждет дома. Старуха накинется с попреками: прождала, мол, гостя, а тот не явился. Что на это возразишь? Сказать, что чужак — человек с гонором и сторонится людей? Конечно, можно бы ответить: «Раненый зверь завсегда норовит в чащобе укрыться», и это было бы правдой, но потом толков да пересудов не оберешься… Мишка решил сразу послать старуху куда подальше и тем самым оборвать дальнейшие расспросы.

 Как только решение было найдено, гнев его мигом улетучился, и перед отъездом он миролюбивым тоном обратился к Андрашу:

 — Слышь… жалко, конечно, что ты отказываешься ехать в село. Помылся бы, как всякому крещеному человеку положено, горячей-холодной водой да всласть попарился бы… А только скажу тебе как на духу: мне так легче — знать, что не в пустые стены вернусь. Даже днем одному в тайге находиться и то не по себе. А уж ночевать тут в одиночку меня ни за какие блага не заставишь!

 — Неужто боишься?

 Мишка молча пожал плечами и отвел взгляд в сторону.

 — Чего боишься-то?

 — Не знаю. Тебе разве не страшно? В особенности ночью с субботы на воскресенье, когда окрест ни одной живой души?

 Чужак отрицательно покачал головой.

 — А мне вот страшно… Не иначе как заклятье на мне какое…

 — Ну, а если, скажем, ты воротишься поздно вечером и никого тут не застанешь?

 — Поверну лошадь и домой погоню! Ежели лошадь трусит своей дорогой, то и я сижу себе на телеге со спокойной душой. Ума не приложу, отчего оно так, мать твою за ногу… Но коли лошадь на воле гуляет, а я тут, в этих четырех стенах один валяюсь, мне, брат, крышка. Зато когда ты здесь и я слышу, как ты сопишь во сне, я не побоюсь выйти наружу, будь хоть какая кромешная тьма. Надо, скажем, лошадь отыскать, чтоб в тайге не заплутала, — это мне нипочем. Никакой темнотой, бурей, грозой меня не запугаешь. И не родилась еще такая лошадь, какую бы мне не удалось отыскать. Лишь бы только знать, что тут, в хате, есть живая душа. Хошь верь, хошь нет, а только так оно и есть.

 — Но чего ты все-таки боишься? Грехов больших за тобой, по-моему, не водится.

 — Это как поглядеть. Черным словом на дню сто раз осквернишься.

 — Так ведь на словах — не на деле.

 — И до воровства дело доходило. Мужику не украсть — и вовсе не проживешь. Испокон веку так было.

 — Мужик, даже когда воровал, то попросту свое трудовое обратно брал.

 — Это правда. Но я не расплаты за грехи боюсь. Сам не знаю чего… — Он предупреждающе поднял руку, не давая собеседнику перебить себя. — Не вздумай меня учить, я и без тебя знаю, как все это по-ученому называется: блажь и суеверие. Да хоть как назови, но бояться-то я все равно не перестану… Не понимаю, откуда у тебя храбрость берется. Сперва мне казалось: ну ладно, ты не боишься, потому как на твоей душе большой грех и тебе теперь все едино. Но сейчас вижу: такое большое несчастье тебя постигло, что хуже и не бывает.

 — А может, большое счастье?

 — Нет, брат, меня не проведешь.

 — Я ведь правду говорю. Ни за кого я не в ответе, разве что за себя самого. Чем не счастье?

 — Так не бывает.

 — Конечно. Да и со мною оно не совсем так… Можно ведь не страшиться смерти, зато зубной боли бояться.

 — Ты не боишься смерти?

 Чужак ответил ему лишь взглядом.

 — Но жить-то ты хочешь! И не уверяй меня, будто не хочешь.

 — С какой стати мне тебя уверять? Если бы я не хотел… веревка есть, сук подходящий тоже найдется. — Андраш улыбнулся. — Нам с тобой на пару совсем неплохо живется, а вреда от нас разве что деревьям в лесу…

 — Я бы не отказался от греха иметь на совести загубленные поросячьи души, — с ухмылкой подытожил разговор Мишка и пошел запрягать лошадь. Прежде чем тронуться в путь, он высыпал на стол всю махру из кисета. — Это тебе до завтра. — Затем взял из кучки щепоть на две закрутки: — Подымить, пока до дома доеду.

 Вот уже пятую неделю они жили вместе. По субботам Мишка спозаранку отправлялся домой. На телегу грузили и привязывали к ней здоровенный ящик с углем. С тех пор как ямы перестали гасить в ночь с субботы на воскресенье, угля заметно прибавилось.

 На обратном пути Мишка прихватывал с собой хлеб, картошку, лук, огурцы, простоквашу, масло. Сварливая жена его теперь не бранилась: больше стало угля, а значит, и плата будет больше.

 По средам, когда возница приезжал за углем, он должен был привозить лишь хлеб и свежее молоко. Если при первой ездке возница забывал прихватить съестное, он исправлял свою оплошность при втором заезде, потому как ему приходилось теперь оборачиваться дважды. Углежоги стали заготавливать для кузницы самое малое по три телеги угля в неделю. Иной раз даже на четверг оставалось еще с добрую телегу. Мишка с напарником прикидывали, что если и дальше так пойдет, то древесным углем можно будет запастись на всю зиму.

 Когда пилили бревна, то меж напарниками нет-нет да и вспыхивали легкие перепалки, но при погрузке на телегу каждый по-прежнему норовил встать ближе к комлю.

 Как бы назвать их отношения? Сказать, что они сдружились, — мало. Полюбили друг друга? Пожалуй, слишком сильно сказано. Сами они заметили только, что когда управятся с урочной работой, у обоих еще хватает охоты кое-что поделать и для себя. Они решили привести в порядок хибару, в которой ютились.

 Заготавливая дрова, они присмотрели подходящее дерево. Уже по расположению ветвей было видно, что его удастся расщепить на ровные плахи. Тогда-то и было решено поправить крышу. Но прежде, пущей убедительности ради, они сделали на дереве затес, чтобы проверить, как снимается стружка. Лишь после этого взялись пилить дерево: ни тот, ни другой не любили трудиться понапрасну. На дрова они предпочитали отбирать поваленные бурей деревья или сухостой. Такие и пилятся легче, да и для угля более подходящи.

 Наконец удалось свалить ровное, почти без сучьев дерево. Его аккуратно распилили и там же на месте раскололи на плахи двухметровые, как и положено. Пришлось попотеть весь день, зато к вечеру они привезли домой целую телегу плах. Мишка не преминул растолковать самому себе:

 — И то правда, осточертела эта дырявая крыша, то и дело подставляешь тазы да ведра, а толку чуть, все одно лужи на полу…

 Углежоги трудились у своих ям ревностно, без передышки, однако же выкроили время и для того, чтобы поправить крышу. Это случилось на шестой неделе их совместного житья, когда теплая весенняя погода сменилась изнурительным летним зноем.

 Мишка, держа лошадь под уздцы, вел ее к дому; после обеда углежоги собирались ехать по дрова.

 Андраш на крыше приколачивал гвоздями свежеструганную, пахнущую смолой дранку. Оттуда, сверху, он и увидел, как по тропинке со стороны села приближается какой-то человек.

 — К нам гость идет, — крикнул он Мишке, который ставил лошадь в оглобли.

 — Кого там несет нелегкая?

 — Почем я знаю? Бородатый мужик, ружье за плечом.

 — Какая на нем одежда?

 — Да никакая. Самая обыкновенная.

 — А шапка?

 — По-моему, лисья. Как только у него голова терпит — по этакой жарище да в меховой шапке!..

 — Лисья, говоришь? Тогда это Евсей — лесничий, значит. Наверняка к нам завернет, только чтобы лишний раз показать: он свой хлеб не даром ест, лес, мол, обходит. Слезай-ка, брат, с крыши.

 Андраш спустился по приставной лестнице и вошел в дом.

 Мишка, не запрягая лошадь, просто привязал ее к телеге, а сам уселся на верхней ступеньке крыльца и свернул цигарку. Воочию убедившись, что по дороге и в самом деле идет лесник, он сперва сделал вид, будто не замечает пришельца, а затем притворно громким голосом, каким будят спящего, воскликнул:

 — Андраш! Эй, Андраш! Вываливай к чертовой матери картошку из горшка. Сегодня в обед тетеркой полакомимся! Слышь, Андраш?

 Чужак вышел на порог дома.

 Евсей словно бы пропустил мимо ушей эти восклицания. Бесшумно ступая в своих мягкой кожи поршнях, он подошел к самому крыльцу, остановился и лишь тогда поприветствовал хозяина.

 — Желаю здравствовать!

 — И тебе того же, — ответил Мишка и глазами сделал знак напарнику.

 — Добрый день, — безразлично-спокойным тоном отозвался тот, разглядывая пришельца.

 Через плечо у Евсея на новом желтом ремне висело охотничье ружье — допотопное, шомпольное; приклад был скреплен медной проволокой. Другой желтый ремень наискось туго обхватывал грудь Евсея и весь был увешан пряжками и колечками. К одной из пряжек был прикреплен мешочек с дробью, а к колечку привязан веревочкой пузырек из-под духов с каким-то зеленовато-желтым порошком. Прочие пряжки и колечки болтались пустые.

 Евсей снял свой лисий малахай и ладонью вытер пот со лба. Волосы у него были седые, борода белая, однако в ней кое-где торчали и рыжеватые клочья. Рыжеватые волосинки, а главное, красная физиономия с полосками белой кожи в складках морщин, ярко-красные узкие губы и веснушки на руке, обхватившей ружейный ремень, свидетельствовали о том, что Евсей смолоду был рыжим. Глаза голубые, как летнее небо, и вместе с тем выцветшие, как старый ситчик. Нос узкий и теперь, под старость, словно бы принюхивающийся к чему-то. Возможно, когда-то этот нос и эти глаза нравились женскому полу.

 — Дозвольте у вас передохнуть? — степенно спросил лесник по всем правилам таежного этикета.

 На это полагалось ответить: «Будь как дома», однако Мишка нашел другую, шутливую форму ответа:

 — Еду принес — гостем будешь! А коли выпивку прихватил, то ты и хозяин. — Слова звучали не обидно, хотя и сказано было не по правилам.

 Евсей кивнул головой и присел на лежащее у крыльца бревно: его накануне привезли из тайги про запас, вдруг да понадобится при починке крыши. Мишка спустился с крыльца и встал возле Евсея, ожидая его вопросов и заранее прикидывая, как бы позадорнее ответить. И тут, тяжело дыша, примчалась собака Евсея; судя по всему, она гонялась за дичью и, видимо, гонялась понапрасну.

 — Найда, сюда! — Евсей ткнул перед собою.

 Собака села в точности на указанное ей место — перед хозяином — и вопрошающим взглядом следила за двумя мужчинами, с кем разговаривал ее хозяин. Это была крупная каштановая сука, скорее всего помесь гончей с овчаркой. Подняв нос кверху, она настороженно принюхивалась к незнакомым людям. Очевидно, ее нервировало, что они стоят, а значит, могут свободно передвигаться, а хозяин сидит и, стало быть, беззащитен. Столь же подозрительно она отнеслась и к тому, что Мишка сел на бревно и насмешливо поглядывает на нее и на ее хозяина.

 Мишка потушил о бревно свою цигарку.

 — Удачно прошла охота? — поинтересовался он, словно бы не замечая, что ягдташ у Евсея совершенно пуст. Злые языки на селе поговаривали, будто бы лесник лакомится жареной дичью лишь в гостях.

 — Ни разочка не выстрелил, — ответил Евсей, вроде бы не услышав подковырки в его тоне. — Я ведь за другим делом пошел, надо бересты на посуду надрать.

 — Сейчас самое время, пока в березе еще сок не пропал. Я тоже присматривал тут подходящие, но…

 — Здесь ты и не найдешь. Разве что тонкие, только на солоницы…

 — Да, хорошие деревья перевелись, — с готовностью согласился Мишка.

 — Для кого как. Зайди подальше, так и на восьмилитровые туеса наберешь сколько угодно.

 — Правда? Мне ни разу такая береза не попадалась. Да и то сказать, от моих куч далеко не ушагаешь. Приходится околачиваться тут, — он мотнул подбородком в сторону угольных куч. — Коптишься сутками, чтобы не заплесневеть.

 — По тайге ходить тоже надо умеючи, — пренебрежительно заметил лесничий. — Пойдешь не в ту сторону — и проходишь зря. А главное, глаз нужен, иное дерево само в руки просится, а ты идешь мимо и не замечаешь.

 — Ясное дело. Углежогу с охотником разве тягаться? Да ни в жисть! — ответил Мишка и подмигнул напарнику. — Вот ты пойдешь и небось без восьмилитрового туеса не вернешься.

 — Рассчитываю несколько штук приготовить к базару на следующей неделе.

 — И почем же станешь продавать, скажем, двухлитровые?

 — Чего спрашивать, раз покупать не собираешься?

 — Восьмилитровые мне не требуются, да и двухлитровых в хозяйстве хватает. Но вот напарник мой совсем без посуды.

 До сих пор Евсей косился на незнакомца уголком глаза. При этих словах он повернулся к нему, словно только что заметил его.

 — Да и я сейчас покупать не стану, — проговорил Андраш. — Вот когда получу аванс — другое дело.

 Евсей одобрительно кивнул. Ему пришлось не по нраву, что Мишка сватает покупателя, который не прочь бы разжиться его товаром по дешевке, а то и вовсе взаймы. Находился до сих пор на Мишкином попечении, ну и пусть себе сидит у Мишки на шее… Конечно, для углежога и любого таежника нет посуды лучше берестяной: не бьется — не в пример глиняной, и легкая, не то что из железа. Чайник для кипятка да берестяной туес — вот все, что нужно человеку в тайге.

 О пластмассовой посуде поговаривают лишь те, кто читает газеты, но к этой новинке еще надо будет как следует присмотреться. А туес — вот он, в лесу, бери да пользуйся на здоровье. Евсей махнул рукой и, словно это не он только что похвалялся своей сметливостью, сказал:

 — Туес пока еще на березе, что тут толковать попусту.

 — И то правда! Посуда на березе, а тетерев на суку, — поддел его Мишка. — Эй, Андраш, мать твою торопыгу!.. Не успел еще из котелка выплеснуть? Евсей, дружище, не побрезгуй перекусить с нами картошечкой.

 — Благодарствую. Только я перед тайгой стараюсь не набивать брюхо. Налегке и шагается ходко. А вот ежели чего попить горяченького, то не откажусь.

 — Товарищ директор кухни, а ну подать сюда кипяточку! Или вода еще не вскипела?

 — Наверное, уже наполовину выкипела.

 — Брось туда смородинового листа.

 — Стой! — гаркнул Евсей.

 Чужак обернулся в дверях. Лоб его мрачно нахмурился, однако лицо по-прежнему сохраняло бесстрастное выражение. Он застыл.

 Евсей снял свою охотничью сумку. Нарочито неспешно вытащил оттуда холщовый мешочек, развязал его.

 — Вот, китайский чай. Завари!

 Чужак, не двигаясь с места, ждал, что ответит ему Мишка.

 — Побереги свое добро, Евсей, — сказал Мишка. — Мы таким чаем балуемся только на рождество да разве что на пасху. А по будням и смородинный лист сгодится.

 Тут Мишка, конечно, загнул: каждое воскресенье он привозил для заварки щепотку настоящего чая.

 — Как не сгодится! Я тоже его люблю. И для здоровья полезно: сказывают, витамин в нем… А то еще есть у меня корень шиповника, весной выкопал, как положено. — И Евсей вновь принялся рыться в своей охотничьей сумке.

 — Ну ладно, — кивнул Мишка, — отведаем твоего чайку, коли ты так настаиваешь.

 Андраш выждал, пока Евсей отыскал другой мешочек, и передал его Мишке. Тогда он спустился на две ступеньки, взял мешочек из Мишкиных рук и не спеша направился в дом. В дверях он обернулся и посмотрел на Евсея и его собаку. Найда лежала у ног Евсея, лишь взглядом провожая каждое движение незнакомца.

 Вода и в самом деле почти вся выкипела, да и дрова прогорели. Пришлось долить котелок и подбросить в печку тонких сухих сучьев. Огонь ярко вспыхнул. Пора было снимать котелок с едой. Картошка была готова как раз в тот момент, когда появился охотник, и теперь слегка разварилась… Андраш слил воду и деревянной толкушкой размял картофель. Полил его простоквашей и аккуратно воткнул сверху три ложки. Тем временем вода в котелке вскипела. Андраш всыпал в кипяток корень шиповника и ухватил тряпкой проволочную дужку котелка. В другой руке он держал посудину с картошкой и три кружки — почти вся их немудрящая хозяйственная утварь уместилась у него в руках. Он снес все это с крыльца и поставил на бревно между Евсеем и Мишкой, затем еще раз сходил в дом за хлебом и ножом.

 Евсей тем временем развернул замотанный в полотняную тряпицу хлеб и положил посредине. Тогда Мишка поднялся и сел на корточки перед бревном, уступив свое место Андрашу.

 Евсей между тем нахваливал свою собаку:

 — …Чтобы кусок когда стащила — такого озорства за ней сроду не водится. К примеру, режем свинью; так она к мясу нипочем не притронется. Но и чужого никого не подпустит.

 — А моя — ворюга, мать ее за хвост! Поймаешь ее на воровстве, так она и не думает бежать. Уляжется на землю и смотрит на тебя: бей, мол, ежели рука поднимется! Ну, где там ударить, в бога мать!.. — Мишка взял себе ложку, дождался, когда возьмут остальные, и начал есть.

 — Жалостью только портишь собаку! — высокомерно заметил Евсей. — Верно я говорю? — обратился он за поддержкой к чужаку. — Учить ее надо.

 — Учить? — засмеялся Мишка. — Уставится на тебя умильно, в глазах чуть не слезы блестят… Тут не то что бить, а еще и погладишь плутовку. Да она и не встанет без этого, так и будет лежать на брюхе, покуда ее не приласкаешь.

 — Какой резон держать такую собаку?

 — Дом сторожит. Правда, она только лает, но при крайней нужде и расхрабриться может. По мне, собака что надо. Верно ведь? — Мишка тоже решил воззвать к постороннему.

 — Верно, — кивнул Андраш.

 — Моя Найда порядок знает. Вот я упомянул к примеру, забиваем свинью. Ежели мясо на полу валяется, пусть ненароком упало, собака вольна считать его своим. Подхватит — я ей слова не скажу. Но к тому, что лежит на столе или на полке, она не притронется. Иной раз и полка-то — доска, на две табуретки положенная, и мясо-то прямо против носа лежит, а собака нипочем не возьмет.

 — Какого черта?

 — Уж так она приучена!.. Или, скажем, обожрется требухой на охоте… — Евсей увидел, как Мишка усмешливо подмигнул напарнику, но недоверчивость слушателей не сбила его с толку, — и тут же бежит траву нужную искать, чтобы, значит, брюхо лечить.

 — Это что! — засмеялся Мишка. — Вот у нас была кошка, мать ее шельму, до того заядлая охотница, в особенности когда с котятами. Воробьев, бывало, одного за другим таскает, страсть глядеть!.. Чего же ты не ешь, Евсей, угощайся!

 Евсей кивнул и из вежливости подцепил ложкой чуток картошки.

 — Так вот кошка эта… — продолжил свой рассказ Мишка, — бывало, скормит каждому котенку по два воробья и никак остановиться не может, в охотничий, значит, раж вошла. И ведь что удумала: вместе с третьим воробьем травку лечебную несет. Знает, стервозина, что котят с обжорства беспременно прохватит. — Мишка с невозмутимым видом дул на горячую картофелину, лишь глаза его смеялись.

 Евсей положил ложку и потянулся за чаем. Выпив полкружки горячего взвара, он исподлобья взглянул на Мишку. Лоб его покрылся испариной.

 — Не зря тебя по всей округе балаболкой кличут, — сказал он. Допил чай, завернул хлеб в чистую полотняную тряпицу со следами глажки и обратился к чужаку: — Кто в собаках разбирается, тот сразу видит, до чего умница моя Найда.

 — Ага, — глухо отозвался чужак. Все это время он с застывшим лицом прислушивался к разговору и ни разу не улыбнулся Мишкиным шуткам. Еду из общей посудины всегда зачерпывал последним, и, не обратись Евсей к нему напрямую, он бы и рта не раскрыл.

 — Вот только жаль, что стареть стала, — прибавил Евсей.

 — Стареть? Да она скоро ощениться должна.

 — Верно. Этого я и жду, — сказал Евсей, удивленный, что от незнакомого человека не укрылась эта не для каждого глаза заметная деталь. — Одного щенка оставлю себе.

 — А другого продали бы мне, — вырвалось вдруг у чужака. Он тотчас же и сам пожалел, что высказал вслух свое внезапно возникшее желание, и понурил голову.

 Евсей смерил его взглядом:

 — И на какие шиши вы его прокормите?

 У незнакомца дернулось веко.

 — Что сам ем, то и щенок есть будет, — хрипло ответил он.

 — Все равно ведь я какого получше себе оставлю.

 — Значит, какой от природы покажется лучшим. Не беда. Тот, что мне достанется, будет не хуже.

 — Лучший, он и есть лучший. Остальные могут быть хорошими, но лучший-то ведь один. Или, по-вашему, я не разбираюсь в собаках?

 — Вы для них неплохой хозяин. Но если я для своего щенка окажусь еще лучшим хозяином, стало быть, и щенок у меня вырастет наилучший.

 — Охотник вы, что ли? То есть дока по этой части?

 Незнакомец молча стал собирать посуду.

 — Потому как через мои руки не один десяток собак прошел.

 Чужак кивнул головой и унес посуду в дом.

 Когда он вышел, кисет гостя был в руках у Мишки, который отсыпал себе на закрутку добрую щепоть табака.

 Получив от Мишки кисет, Евсей протянул его чужаку.

 Тот принял кисет, а Евсей продолжил разговор:

 — Знаете, до чего умная собака Найда? Каждое слово понимает.

 В руках у Мишки застыла наполовину скрученная цигарка. Евсей заметил это.

 — Только что говорить не умеет, — добавил он.

 — Она и говорить умеет, — вдруг сказал незнакомец.

 Мишка расхохотался. Из полусвернутой цигарки просыпался табак.

 — Ну, конечно, голос она подает, — согласно кивнул Евсей.

 — Говорить умеет, — повторил чужак. Он опустился на корточки, положил ладонь на пожухлую, опаленную жаром близкой угольной ямы траву. Взгляд его устремился на собаку.

 Найда, тихонько поскуливая, на брюхе подползла к нему. Обнюхала руку незнакомца, но не лизнула ее.

 — Найда, на место! — Евсей сердито ткнул перед собой туда, где перед этим лежала собака.

 Найда послушалась. Села у ног хозяина, не сводя глаз с незнакомца.

 Лесничий встал, закинул ружье за плечо, поправил ремень.

 — Ну, бывайте здоровы. — И повернул прочь. Ноги его, обутые в поршни из мягкой кожи, ступали неслышно. За поясом сзади поблескивал топорик, которым он будет снимать бересту на туеса.

 На другой день углежоги вскрывали ямы; стоя на самом верху кучи, они задыхались в дыму, в жаре и в угаре.

 — Ах, мать твою!.. По моей прикидке, тут кубометра полтора будет, а то и меньше, — сокрушался Мишка. — Выходит, зря старались.

 — Ничего. Зато в другой больше возьмем, — утешал его напарник.

 По перепачканным сажей лицам ручейками струился пот, грязные рубахи липли к спине. Углежоги работали проворно, подбадривая друг дружку, как обычно трудятся люди на сдельщине. Заработок им начисляли в конторе по количеству кубометров готового угля.

 Они почти не разговаривали, пока не выбрали весь уголь из ямы, разве что изредка перебрасывались словом. Достаточно было жеста, чтобы другой понял, что ему требовалось делать.

 Когда весь уголь был выбран на край ямы, Мишка окинул взглядом всю кучу. Завидев дымящуюся головешку, он тотчас залил ее водой, чтобы на воздухе не занялась огнем.

 Андраш спустился к роднику и принес два ведра воды; одно поставил возле кучи угля, другое отнес в избушку.

 Мишка тоже прошел в дом; утер лицо, зачерпнул кружку воды и жадно выпил. Тотчас же на лбу у него выступили бисеринки пота. Протянув руку назад, он одернул прилипшую к спине рубаху.

 — Уф, — вздохнул он. — С одной управились, принимайся за другую. И так всю жизнь до самой смерти, будь она трижды неладна! — Он выругался. — Вот я тебя спрашиваю: кто умнее — машина, лошадь или человек?

 — Человек умнее машины, — сказал Андраш.

 — Может, объяснишь почему?

 — Потому что человек изобрел и сделал машину.

 — А вот и неправда! Машина умнее человека, а человек умней лошади. Объяснить почему?

 — Объясни.

 — Машина ни на аршин не сдвинется, пока не задашь ей корма. Сперва изволь залить ей брюхо соляркой или бензином. Чуешь разницу? А человек — он и на голодное брюхо работать не откажется. Кляча же и того дурее: мало что нежрамши тянет, так еще и покоряется человеку, хотя он против нее слабак. И все сносит безропотно, что твоя великомученица.

 — Что же, по-твоему, ей остается делать?

 — Леший ее знает… Хотя иная лошадь себе на уме и знает, что делать. Я, к примеру, слыхал про одного хозяина, жестокий был человек, бил свою лошадь смертным боем. И вот однажды повел он ее к ручью на водопой. Лошадь сперва его сбросила, а потом копытами затоптала. Так и утонул в ручье, а воды там было по колено! Хочешь верь, хочешь нет, за что купил, за то и продаю. Но вот тебе доподлинная история, это у нас случилось каких-нибудь полгода назад… Рябчика нашего не видал? Племенной жеребец, потомков от него по всей округе встретишь… Ну так вот Рябчик этот прижал конюха к стенке стойла да так, что раздавил мужику все внутренности — печенку, кишки, как есть все нутро. Через две недели конюх и помер. Ужас до чего злой был мужик, что животному, что человеку норовил в глотку вцепиться. Прежде он, вишь, охранником был… Правда, мой старший сын тоже по этой части служит, но он людей не забижает. Ну да не об том речь… И что бы ты думал? Теперь этого дьявола — Рябчика нашего — сопливая девчонка обихаживает: кормит, поит, уму-разуму учит. И скачет на нем как угорелая. А он, окаянный, слушается эту соплячку не хуже, чем я свою старуху, или еще того пуще.

 — Начал ты с того, что лошадь, мол, глупа, глупее некуда. А все твои истории другое доказывают: вовсе она не глупая.

 — Рябчик, к примеру, далеко не дурак. А уж хитер до чего, мерзавец! Вздумай он затоптать конюха копытами, его враз бы пристрелили, хоть он и племенной жеребец. Но он того злодея копытом не тронул! Прижал его к стенке «ненароком», оплошал, дескать, с кем не бывает! Слыхивал ты про такое?.. А теперь стал как шелковый. Девчонку эту, что к нему приставлена, издалека по шагам узнает. А может, в щелку видит, как она к конюшне идет, — бог его знает. Но только ее почует, заржет, как молоденький жеребчик. И ведь девчонка, и делом не бабьим занимается. Потому как я считаю, баба должна цыплят кормить, а лошади пусть не касается, в особенности какая с норовом. Но теперь, вишь ты, новая мода пошла, да и жеребец под ее рукой ухоженный стал, гладкий, шерсть лоснится — что правда, то правда.

 — Девчонка на конюшне работает или мужик — неважно; лошади без человека не обойтись.

 — Потому я и говорю, что она глупая.

 — Не глупее человека или машины. Как ты ее ни хвали, а машина крутится, вертится, покуда в железный лом не износится. Потом из железного лома новую машину делают, а от человека идет другой человек.

 — Это верно. Однако же и я правильно их по уму расставил… Взгляни, как бы там наш уголь не вспыхнул!

 Андраш собрался было выйти, когда в открытую дверь хижины вбежала собака.

 — Ба, да никак это Найда! — удивился Мишка.

 Собака направилась прямо к чужаку и уткнулась носом в его колени, взглядом ища его взгляда.

 — Евсей возвращается, — заключил Мишка. — Видать, ночью комаров кормил.

 Он бросил собаке корку хлеба. У старика были плохие зубы, и хлебные корки он складывал на подоконнике, копя их для собственной собаки.

 Чужак погладил Найду по голове и, ни слова не говоря, пошел к угольной куче. Покончив с делом, он вернулся и лег на лавку у стены. Собака забилась под лавку.

 Прошло минут десять, и перед домом появился Евсей — тяжело отдуваясь, с покраснелой, распухшей от комариных укусов физиономией.

 Он свалил у крыльца связку новехоньких светло-желтых туесов. Было их не меньше дюжины, причем один литра на четыре, но даже самый маленький вместимостью побольше литра. Евсей вошел в дом и поздоровался. Огляделся по сторонам и, лишь когда глаза его привыкли к полумраку, увидел лежавшую под лавкой Найду. Подойдя, он злобно пнул ее ногой.

 — За что ты ее так? — вскинулся Мишка, который никогда не бил ни лошадь (глупую животину, как он только что доказывал), ни собаку; разве что шлепнет разок ладонью, да и то изредка.

 — Чтобы не шлялась незнамо где, — буркнул Евсей.

 — Конечно, ежели так рассудить, собака твоя… — проговорил Мишка. И, пожав плечами, добавил: — А ежели рассудить по-другому, то божья тварь.

 — Я ей покажу божью тварь! Я над ней хозяин, как над лошадью, над свиньей или коровой.

 — Никто тебе не перечит, — примирительным тоном заметил Мишка.

 — Ей все одно до зимы не дотянуть, — решительно заявил Евсей. — Дождусь, пока она ощенится и выкормит кутенка, пока шкура линять перестанет и к зиме пушистая сделается. А там на рукавицы пойдет либо на воротник к полушубку, — сказал он, обращаясь к Найде.

 — Ведь собака понимает, что вы ей говорите, — не выдержал чужак.

 Все трое невольно посмотрели на Найду и почувствовали: собака понимает, о чем они говорят.

 Искусанная комарами физиономия Евсея побагровела пуще прежнего. Он обливался потом, будто только что выскочил из парилки.

 — Черта лысого она понимает! — сердито огрызнулся он.

 — Ведь ты сам сколько раз твердил, что собака твоя из умниц умница и все как есть понимает, — без тени насмешки упрекнул его Мишка.

 — Ясное дело, понимает, когда ее кличешь или велишь принести поноску. Или голос подавать запрещаешь. Но это не значит, будто у нее ум, как у человека.

 — Конечно, не как у человека. Иначе она бы ожесточилась, — вставил чужак.

 — Да я и сейчас скажу, что Найда умная. Будь на ее месте щенок неразумный, так я бы и наказывать не стал: какой с него спрос? А Найда свой урок получила за то, что вперед убежала… Она и сама знает, что провинилась. Верно, Найда?

 Собака, все это время ждавшая возможности убраться восвояси, улеглась на пол и жалобно заскулила. Мишка отвернулся, не в силах видеть сильное, красивое животное с набухшими сосцами, униженно скулящее на полу.

 — Смотри у меня! — с угрозой прикрикнул на собаку Евсей. Затем, обратясь к углежогам, хладнокровно пояснил: — Видали? Все понимает, только сказать не может.

 — Может она сказать, — резко возразил чужак. — Просто вы не понимаете, что она говорит.

 — Ты, что ли, понимаешь?

 — Не смейте мне «тыкать»! — Чужак не повысил голоса, лишь ближе подступил к Евсею.

 Мишка поднялся с места. Удивленно смотрел он на чужака, впервые видя его вышедшим из себя.

 Шутливые подковырки Мишка любил, зато ссоры терпеть не мог. А тут явно назревала ссора, и дело, пожалуй, могло дойти до рукопашной.

 Однако Андраш вдруг резко сменил тон. Хрипло, почти шепотом он добавил: — Найда просит не бить ее, потому что она со щенками.

 — Просит не бить? — с неестественным, злым смехом переспросил Евсей. — А может, и еще чего говорит? — Он повернулся к собаке. — Ну-ка, Найда, скажи нам, завезут сегодня в сельмаг курево?.. Отвечай, когда спрашивают! — заорал он и вновь пнул собаку ногой.

 Мишка бросил на чужака возбужденный взгляд. «Не осрамись, дай сдачи», — яснее ясного говорил этот взгляд. Только что оба спорщика вызывали его неодобрение, теперь же противен был один Евсей.

 — Выходит, этого она не знает? — обратился Евсей к чужаку.

 Тот открытым ртом ловил воздух, делая глубокие вдохи, очевидно, пытался таким путем подавить приступ гнева.

 — Не знает, — спокойно, чуть ли не примирительным тоном отозвался тот. — Ведь этого и вы не знаете. Зато она поняла, что вы перед этим сказали, и просит не убивать ее. — И как бы уже от себя добавил: — Жаль губить ее ради шкуры.

 — А ты, значит… хотя такое обращение не по душе вашей милости, — голос Евсея от злобы сделался совсем тонким, — вы для этой паскудной твари заступником заделались? Небось и это она говорит?

 — Нет. Она говорит другое. — Чужак отвечал ровным тоном, хотя лоб его хмурился. — Она просит меня стать ее хозяином.

 Все трое взглянули на собаку. Найда поднялась и робко, нерешительно направилась было к чужаку.

 — Найда! — взревел Евсей.

 Собака снова улеглась на пол.

 — Продайте мне собаку, — тихо, миролюбиво проговорил чужак и загородил собою Найду, чтобы Евсей не смог ударить ее.

 — Не отдам!

 — Я заплачу.

 — Да? И сколько же дашь?

 — Меру пшеницы.

 — Ну давай выкладывай! — презрительно усмехнулся Евсей.

 — Вам ведь известно, что я работаю за трудодни. Но перед свидетелем говорю: по осени обязуюсь расплатиться. Уж меру-то зерна наверняка заработаю.

 — Соглашайся, Евсей, — вступился за товарища Мишка. — Он отдаст, не обманет. Я за него ручаюсь. Ну? — И он повернул руку Андраша ладонью кверху, как принято на ярмарках при заключении сделки. — Давай, Евсей, по рукам! Такого дурного покупателя не скоро сыщешь, — и он доброжелательно улыбнулся чужаку. — За меру пшеницы две самолучшие шкуры купить можно.

 Раскрытая ладонь чужака была выжидательно протянута Евсею.

 — Нет! — отрезал Евсей и перевел взгляд на лежавшую позади Андраша Найду. Рукавом пиджака он утер пот со лба, повернулся и подошел к распахнутой двери.

 — Ну, нет так нет! — сказал Мишка и смахнул со стола остатки завтрака: кожуру от печеной картошки.

 — Раз отказываешься от меры зерна, — проговорил чужак, — тогда знай наперед, что Найда теперь моя собака. И она это знает. — Чужак присел на корточки и тихо позвал: — Найда.

 Собака, дрожа всем телом, поползла к нему.

 В этот момент Евсей резко обернулся и, вытащив из-за пояса бечевку, накинул петлю на шею собаки. Та покорно поднялась. Евсей пристегнул ее к поводку.

 — Ну ладно, желаю тебе здравствовать, Мишка, — с вызовом произнес он и направился было к выходу. Но Найда не шелохнулась. Тогда Евсей с силой рванул поводок. Собака легла, но Евсей безжалостно потащил ее за собой.

 Мишка схватил товарища за руку. Однако его опасения были напрасны: Андраш не двинулся с места. Углежоги слышали, как лесничий на ходу ремнем бьет собаку.

 — Не надо было… — взглянул на него Мишка.

 — Я тут ни при чем, — ответил чужак.

 — Есть в тебе колдовская сила? — с замиранием сердца спросил Мишка.

 — Нет во мне никакой колдовской силы.

 — Жаль, что нет. Ты ведь понимаешь, что отныне Евсей — твой смертный враг.

 Андраш пожал плечами.

 — Так уж и смертный…

 — Ну, конечно, не смертный, это так, к слову говорится. Но язык у него поганый, так что остерегайся.

 — Мне в жизни столько всего приходилось остерегаться, что я уж и забыл, как это люди вечно с оглядкой живут, — равнодушно ответил чужак и, чтобы на этом закончить разговор, спросил: — Запрягать?

 — Давай запрягай, — сказал Мишка.

 В субботу утром Мишка, встав ото сна, собирался в дорогу, когда собака, тяжело дыша, вбежала в открытую дверь избушки. Чужак ушел к роднику за водой.

 — Ты чего тут забыла? — удивленно воскликнул Мишка.

 Найда бросилась вон и через минуту, прижавшись носом к колену Андраша, вернулась в дом.

 — Слышь, Андраш, — встретил его Мишка, — собака-то из дому сбежала! Пришла без Евсея.

 — Похоже на то.

 — Не то что похоже, а так оно и есть. Сроду не бывало, чтобы Евсей сюда в субботу заявлялся. У него уже с половины пятницы воскресенье начинается. Субботу и воскресенье можно бы спокойно на откуп дать всем, кто до дарового леса охоч, кабы нашлись такие чудаки, кому боязно по будням лес красть. Да только не сыскать таких чудаков — вот те крест! По субботам-воскресеньям и жулики отдыхают.

 Андраш лишь кивком головы ответил на многословные речи Мишки.

 — И все же неладно выходит с собакой… — враз посерьезнел Мишка. — Не к добру это… Как думаешь, отвезти ее обратно?

 — Нелегко будет.

 — Чего тут трудного? Небось с собакой-то совладать силенок хватит. Связать да забросить в телегу — вот и вся недолга.

 — Она же опять прибежит.

 — Вот то-то и оно, что прибежит, стало быть, и нечего огород городить. И какого лешего она к тебе пристала, окаянная?

 — Так ведь и я ее полюбил. И жалею ее.

 — А ведь ей нехудо жилось у Евсея. Человек он злой, но собаку свою ценил. И уж теперь наверняка ее не уступит. Охотничья гордость не стерпит, чтобы собака от хозяина сбежала.

 Грудь чужака высоко поднялась, затем с неслышным вздохом опала.

 — Ты веришь мне, Миша? — спросил он, глядя в пол перед собою.

 — С чего бы не верить?

 — Нет, серьезно!

 — Да полно тебе!

 — Одолжи меру пшеницы.

 — И одолжу. Почему не одолжить?

 — Спасибо тебе, Миша!

 — За что тут благодарить, вот чудак-человек… Скоро моя Жучка тоже ощенится, любого щенка на выбор отдам тебе с радостью. На кой тебе такая здоровенная собака? Ее прокормить — все равно что теленка вырастить. Ну, если не теленка, то уж поросенка-то наверняка. Ты, брат, обмозгуй все как следует. Не ты ведь эту Найду растил, натаскивал, она другим навыкам обучена. На черта она тебе сдалась?

 — Так ведь это я ей нужен. Боится она лесничего.

 — Ты шутишь или всерьез? Думаешь, она поняла его слова?

 — То ли слова, то ли взгляд, но поняла.

 — Тогда я молчу и больше не вмешиваюсь. А то еще решишь, будто скуплюсь в долг тебе дать.

 — Разве я могу о тебе такое подумать, Миша! — негромко обронил чужак.

 Мишка отправился в село с твердым намерением, если только представится возможность, откупить у Евсея собаку. Хотя и знал, что дома неприятных разговоров не оберешься. «Старый дурень, мало ему, что по сей день кормил-поил стороннего человека, а теперь, вишь, решил цельную меру зерна ему отвалить! Можно подумать, у нас самих добра девать некуда!» В ушах у Мишки заранее звучали попреки, какими в сердцах его осыплет жена. Медленно тащилась повозка по лесной дороге: возница хотел добраться домой затемно. Он не станет выслушивать старухины причитания; распряжет лошадь, зайдет в дом на минутку, сбросит с себя на пол грязную одежку — и бегом в баню. Нет, сегодня он насчет зерна даже разговора заводить не будет, а завтра с утречка, как глаза продерет, сразу же отправится к Евсею. Если удастся столковаться с Евсеем, то и старуха не посмеет лезть на рожон.

 Мишка провел дело, как и задумал, но без толку. Несолоно хлебавши возвращался он в тайгу. Солнце спустилось за верхушки сосен, черными зубцами вырисовавшиеся на фоне предзакатного неба, когда он подъехал к угольным ямам. По дороге домой он мысленно препирался с женою, а на обратном пути беспокоился, как сказать о неудаче товарищу.

 — Не отдает Евсей собаку, — рубанул он сплеча вместо приветствия сидящему у края ямы Андрашу. Затем молча обошел угольные кучи и скрылся в избе. Его обычной разговорчивости как не бывало.

 Чужак сидел не двигаясь. Собака вытянулась рядом, положив голову ему на колени и провожая взглядом Мишку.

 Прошло не меньше часа, прежде чем Мишка кликнул товарища:

 — Эй, заходи в дом!

 Андраш поднялся и пошел в дом. Собака осталась у ямы. Вечерние сумерки заметно сгущались.

 На сей раз Мишка накрыл на стол, выложив поверх полотняной тряпицы всю привезенную из дому снедь. Однако хлеба подал не два каравая, как обычно, а только один. Это означало, что отныне и до тех пор, покуда они сообща живут в этой избушке, все у них общее.

 Мишка вручил Андрашу хлеб, пододвинул нож поближе.

 — Присядем, что ли…

 Оба были в чистых рубахах.

 — Где она? — почти шепотом спросил Мишка.

 — У ямы осталась.

 — Ни в какую Евсей не соглашается. Говорит, лучше пристрелит, чем в другие руки отдаст, — негромкой скороговоркой выпалил Мишка и зыркнул по сторонам. Он явно опасался, что собака услышит и поймет его слова.

 — Ты сказал, что сразу расплатишься?

 Мишка грохнул кулаком по столу.

 — А ты как думал? Рот — не задница, чтоб его на замке держать.

 — Ну ладно, ладно. Чего ты сразу на стенку лезешь?

 — Ладно, ладно, — передразнил его Мишка. — Что делать-то будем? Ведь этак дело добром не кончится, заранее тебе говорю.

 Андраш махнул рукой:

 — Отдаст. Одумается и отдаст.

 — Плохо ты Евсея знаешь. Жадён, как черт, по нему сразу видно. Зато ты не знаешь, что он три раза был женат и сейчас решил третий дом на сторону сплавить; покупателя на него подыскивает. А дом самый справный на селе. Но Евсей, коли озлится, даже дома не пожалеет.

 — А по-моему, отдаст он собаку. Хотя бы из-за охотничьей гордости. Ведь собака теперь его слушаться не станет.

 Мишка взял было в руки кружку с простоквашей, но, так и не попробовав, поставил обратно на стол. Теперь голос его обрел привычную громкость.

 — Андраш! Признайся, как на духу: чем ты ее привадил — взглядом или едой?

 — Ни тем, ни другим. Ты дал ей хлебную корку, а я ничем не кормил. Со вчерашнего дня, правда, мы с ней сообща кормимся.

 — Не желаешь отвечать? — рассерженно спросил Мишка. — Признайся, взглядом околдовываешь или заговор знаешь?

 — Нет.

 — И не умеешь?

 — Нет.

 — А на селе сказывают, будто у тебя глаз колдовской.

 — Евсей воду мутит?

 — Там и без Евсея болтунов хватает. Одну толстозадую Варвару послушать, и то много чего наберешься. Хочешь, перескажу?

 — Валяй… — Андраш отрезал ломоть хлеба.

 — Так вот, Варваре этой известно, какие дела тут творились в ночь с субботы на воскресенье… Не на этой неделе, а на прошлой, в новолунье. Она тогда в лесу была, ревматизм муравьями лечила. Говорит, в новолунье лучше всего помогает. Ты про такое слыхал?

 — Как не слыхать. Еще в прежние времена старики знали, что муравьиные укусы от ревматизма верное средство. И новолунье тут ни при чем.

 — Насчет новолунья не знаю. А что до ревматизма, то стоит наша Варвара посреди муравейника голая, в чем мать родила, и вдруг слышит: беглые арестанты по лесу идут.

 — Вон что! Ну и дальше что было?

 — А дальше к тебе, говорит, заходили. Забрали весь хлеб подчистую и махорку до остатней крошечки. Правда это?

 — Сам знаешь, что неправда.

 — Я-то знаю, но хочу, чтобы ты сам это подтвердил. А еще говорит Варвара, будто тебя потому только не убили, что и ты с ними одного поля ягода.

 — Ты ведь сказал, что нагишом стояла посреди муравейника… Откуда же тогда ей известно, куда заходили беглые арестанты и что с собой прихватили?

 — Верно, брат! — К Мишке вернулось хорошее настроение. — Вот и я ей сразу же выложил: «Значит, ты, Варвара, голяком в лесу стояла? Может, милая, вовсе и не муравьи по тебе ползали, а арестанты?» Ты бы слышал, чего она мне в ответ нагородила! И как, мол, у меня язык поворачивается шутки шутить, когда она до того перепугалась, что со страху стояла ни жива ни мертва. Ведь бандиты-то сели совсем рядом под деревом и давай добычу делить. Вот как все было, и она, Варвара, готова поклясться хоть перед святыми образами, не то что перед законом. До того живо все в подробностях расписала, что человек поумней меня и тот поверит.

 — Пускай верит, кто хочет. Все равно это неправда.

 — От этих разговоров так просто не отмахнешься… Знаешь, что мы сделаем?

 — Ничего не надо делать.

 — Как это — ничего? На будущей неделе вместе поедем в село, и ты потолкуешь с Евсеем? Идет?

 — Я подумаю.

 — А теперь позови ее, — Мишка мотнул головой в сторону угольных куч. — Небось голодная.

 Андраш вышел на крыльцо и тихонько хлопнул по колену ладонью. Собака молнией метнулась к нему, чуть не сбив его с ног.

 На другой день углежоги ездили в тайгу за дровами. На обратном пути, когда они неспешно брели позади скрипучей телеги, Мишка еще издали приметил вороного жеребца, привязанного к столбу возле избы.

 — Председатель сельсовета к нам заявился, — обеспокоенно сказал он. — На Рябчике прискакал. — Пальцами левой руки он расчесал бороду. — Уж не стряслось ли чего?

 — За мной никакой вины нет, — ответил чужак.

 — Тогда ладно. Видишь, это тот самый жеребец, что прижал к стене конюха, а теперь, как ручной, ходит за девчонкой. На него и сесть-то верхом решаются только девчонка эта да председатель.

 Чужак молча пожал плечами.

 Углежоги подошли к тому месту, где дорога спускалась в распадок; тут приходилось быть начеку. Чужак просунул между спиц жердину, а Мишка прошел вперед и накоротко перехватил привязанные сбоку телеги вожжи. Чужак с запасной жердью наготове подпер плечом накренившуюся было телегу.

 Они осторожно спускались вниз, делая вид, будто не замечают гостя.

 Когда спуск был преодолен и телега подъехала к краю ямы, человек, который сидел на крыльце, поднялся в рост.

 — Бог в помощь! — громко сказал он.

 Оба углежога только теперь посмотрели в его сторону и почти в один голос откликнулись: «Спасибо».

 Им навстречу, прихрамывая, шел мужчина в темных галифе и гимнастерке. Он сперва пожал руку Мишке, затем чужаку. Расстегнув карман гимнастерки, достал пачку папирос. Угостил обоих сразу и дал прикурить от зажигалки. Худое, нервное, с отвислыми щеками лицо председателя явно несло на себе следы фронтовых передряг.

 — Ну как, припасете угля вдосталь?

 — По-моему, да, — уверенно заявил Мишка.

 — Я имею в виду, чтобы про запас было. Ведь во время жатвы ты, дядя Миша, как обычно, на зерносушилку пойдешь…

 — Вечно меня в самое пекло сунуть норовите. Нашли черту подручного грешников поджаривать!

 — Хлеб-то разве каким грехом провинился?

 — Хлеб-то не виноват, зато все остальные на круг виноваты, мать их в качель!..

 Чужак, намеренно показывая, что разговор этот его не касается, начал было распрягать лошадь.

 — Мне бы надо с вами малость потолковать, — сказал, обращаясь к нему, председатель. — А лошадь ты сам распряги, дядя Миша.

 — Это можно! — с готовностью согласился Мишка и направился к телеге.

 Чужак подошел поближе. Председатель выждал, пока Мишка распряг и увел лошадь.

 — Во-первых, — начал он сухо, по-фронтовому, — кудесник, ведун или кто вы там еще — все это дурь несусветная. Об этом даже и говорить не стоит.

 Чужак кивнул.

 — Второй вопрос я вынужден вам задать, поскольку мне как официальному лицу сделали определенное сообщение. Короче говоря, свидетели утверждают, якобы девять дней назад, в ночь с субботы на воскресенье у вас, в этой избе, побывали беглые заключенные. Это правда?

 — Нет.

 — Утверждают также, будто они у вас забрали хлеб и табак. Скажем, вынудили силой.

 — Никого у меня не было. А если бы кто забрел, я бы без всякого принуждения отдал хлеб и табак.

 — Значит, из симпатии? — раздраженно спросил председатель.

 — Чтобы не дожидаться, пока забьют насмерть. Но тут никого не было. Да я и не знал, что беглые заключенные в эти места заходят. Из моих документов вам должно быть известно, что я никогда и ниоткуда побегов не совершал. Правда, и бежать мне не было резона, ну да про это никто, кроме меня, не знает…

 — Вы все сказали? — спросил председатель.

 — Все.

 — Ладно, с этим покончили. Теперь третий вопрос: собака Евсея.

 Председатель оглянулся по сторонам, надеясь увидеть собаку, которой, кроме как здесь, на заимке, больше и быть негде. Но ни ранее, пока он дожидался углежогов, ни теперь, когда они вернулись, собаки он не заметил.

 На деле же получилось так, что Найда, которая стерегла дом в отсутствие углежогов, завидя верхового, спряталась в кусты и теперь подсматривала за людьми из своего укрытия. Найда хорошо знала и лошадь, и всадника. Она без звука подпустила их к дому, выжидая момента, когда невзначай гость вздумает повернуть прочь, тут-то сторожевому псу и полагалось преградить дорогу.

 — С какой целью вы сманили у Евсея собаку?

 Чужак досадливо, непочтительно пожал плечами.

 — С какой целью вы сманили у Евсея собаку? — нетерпеливо повторил председатель.

 — Да не сманивал я. Она сама от него сбежала.

 — А почему именно к вам?

 — Почувствовала, что я ее не прогоню.

 — Евсей повернул дело по-другому. Он, видишь ли, лесничий, а его лишили собаки аккурат теперь, когда по тайге беглые заключенные разгуливают… Ясно вам, куда он клонит?

 — Я не знал, да и сейчас не знаю, скрывается ли кто в тайге. Правда, Миша рассказывал что-то похожее, но я не поверил. И сейчас не верю. Но даже если это и правда, то ведь известно, что беглецы норовят поглубже в тайгу забраться, а не по дорогам расхаживать. Может, это городское жулье? Тогда их надо на воскресном базаре ловить.

 — Пожалуй, вы правы… Но собака Евсея все же у вас. Верно?

 — Верно.

 — А собака, как известно, денег стоит.

 — Я предложил двойную цену.

 — Никто не обязан продавать свою собственность, если не желает.

 — А лучше бы продать. Собака навсегда теперь вышла из его послушания.

 — Отчего так?

 — Он сам потерял ее преданность. Сказал, что убьет ее, а собака поняла.

 Председатель подержал на весу ноющую раненую ногу. Однако стоять на одной ноге тоже было неспособно. Вытащив пачку папирос, он рассеянно протянул ее чужаку. Не замечая, что тот не воспользовался его предложением, поднес ему и зажигалку. Какое-то мгновение постоял так, с протянутой зажигалкой, потом, досадуя, закурил сам.

 — Гм… Об этой истории дядя Миша раззвонил по всему селу. Значит, по-вашему, собака каждое слово понимает?

 — Не каждое. Если сказать ей, к примеру, «председатель», она не поймет. Но если она сейчас видит нас, то понимает, радуюсь я тому, что вы здесь, или нет. Знает и про вас: рады ли вы меня видеть. Знает, какая собака у вас дома, и, по-моему, знает, как вы с ней обращаетесь — хорошо или плохо. Собака особенно чует, какие чувства испытываем мы, люди. Конечно же, она понимает далеко не все, но иной раз способна почувствовать такое, что не каждому человеку удается.

 — Выходит, — председатель глубоко затянулся дымом, — дело тут не в понимании, не в уме, а в одном лишь чутье, так, что ли?

 — Для такого чутья и ум требуется. Есть собаки умные, а бывают и глупые. Евсей сам твердит, что его собака понимает все, чему он ее обучил. Но собака понимает больше того, чему ее учили. И высказать может больше, чем охотнику требуется. Лает по-всякому, виляет хвостом — это ведь тоже собачий разговор. А взгляд какой выразительный! И собака не просто зубы скалит: она и смеется, и ухмыляется, может и радоваться, и тосковать. Не ее вина, что она по нашим словам и взгляду понимает больше, чем мы по ее собачьему голосу и глазам. — Он махнул рукой и закусил губу.

 — Значит, собака умнее человека?

 — Нет. Просто для собаки вся жизнь заключена в человеке. Она более внимательно приглядывается и прислушивается к нам, чем мы к ней. Но собака глупее — в том смысле, что животному далеко до хитрости, своекорыстия, расчетливости человека. Да вот хотя бы спросите Мишу, он вам порасскажет, как лошадь только через свою доброту и кротость угодила в рабство к человеку — существу злобному и плотоядному.

 — Плотоядному! Дядя Миша наплетет с три короба, только слушай. Правда, сам он не прочь и в великий пост оскоромиться, да только у его старухи мясом не больно-то разживешься: крепко она его под каблуком держит… Может, присядем? Не могу долго стоять на месте.

 Прихрамывая, председатель направился к крыльцу. Чужак последовал за ним. Председатель с опаской, какая в крови у каждого бывалого фронтовика, поглядывал на идущего чуть позади человека.

 Они присели на ступеньку крыльца. Председатель снова извлек из кармана пачку папирос и протянул чужаку; тот на сей раз не отказался.

 — Хорошо бы уладить это дело полюбовно, — сказал председатель. Теперь в тоне его не слышалось какой бы то ни было официальности.

 — Я своему слову хозяин: уплачу меру зерна.

 — Уж больно настырный он, этот Евсей. — Председатель потер ладонью тщательно выбритые, бледные щеки.

 — Велел Мише передать, что скорее застрелит собаку, чем продаст.

 — Вот уж никогда не поверю! — весело засмеялся председатель. — Да он всю жизнь пуделял!

 — Такой охотник гораздо опаснее, — помрачнел чужак. — Этот сперва свяжет жертву, а уж потом застрелит.

 — Попробую вправить ему мозги. Гм… — Председатель умолк, пристально изучая сидящего рядом человека. — А вы не согласились бы пойти в лесничие? Тайги вы, я вижу, не боитесь. А Евсей давно просит перевести его на птицеферму. Оно и понятно: там за него баба вкалывать станет. Ну да неважно. От него проку, как от козла молока…

 — Вам виднее. А что до меня, то я согласен.

 — Вот и уладим все после жатвы. Если угля заготовите впрок… Договорились?

 — Ладно.

 Когда Андраш, подрядившись в углежоги, впервые ехал с Мишкой в тайгу, весна только-только начиналась. На лесных прогалинах топорщилась бурая прошлогодняя трава, и лишь по обочинам дороги густой желтой россыпью золотились одуванчики. Вдалеке, на пахотном поле, надсадно гудел и фыркал трактор, но у заимки, на дне распадка вокруг родника белые проплешины снега противоборствовали наступающему теплу.

 За это время короткая весенняя пора давно миновала, верхушки елей покрылись светлой зеленью молодых ростков, а желтые головки одуванчиков поседели и распушились шарами. Жухлая прошлогодняя трава на полянах ушла под молодую поросль, а когда углежоги углублялись в тайгу за дровами, в тенистых местах тележные колеса безжалостно давили пестрые орхидеи — наполовину лимонно-желтые, наполовину коричневые. Там же, где тайга становилась непроходимой, у подножья вековых деревьев-великанов, словно заколдованные, неподвижно стояли орхидеи темно-красного цвета. Комары и мошка плотной бурой завесой вились над таежными красавицами.

 Пора цветения — самое трудное время в тайге. Зной и духота нещадно терзали углежогов, по лицам их под накомарниками непрестанно струился пот. Несчастная лошадь крутила шеей, трясла головой, вскидывала рыжеватую гриву, обмахивалась хвостом. Сильная, работящая кобыла обычно отличалась спокойным нравом, но теперь уголки глаз ее были забиты мошкой, а в лоб, шею и спину впивались кровожадные слепни.

 Углежоги обмазывали лицо и шею смолой: она защищала от укусов надежнее, чем накомарник. Мошку вокруг глаз лошади приходилось стирать ладонью. Мишка прикрепил к хомуту, подпруге и оглоблям березовые ветки; они опахалами колыхались от резких, нервных движений лошади.

 Но и это мало помогало. Грузить дрова на телегу стало гораздо труднее. Измученное животное не в силах было ни минуты устоять на месте и ухитрялось дернуть телегу как раз в тот момент, когда углежоги собирались взвалить на нее поднятое бревно. Приходилось опускать бревно на землю и подавать лошадь назад либо, продираясь через подлесок, тащить тяжеленное дерево к неудобно ставшей телеге.

 Люди исходили потом, расчесывали зудящую от укусов кожу. Чужак сносил страдания молча, Мишка облегчал душу замысловатыми, хотя и беззлобными ругательствами. Обоим противен был весь свет, только друг к другу и к лошади никакой неприязни не испытывали. И по-прежнему каждый из них норовил подставить плечо под тот конец бревна, что потяжелее…

 Летние дни, хотя и стали долгими, пролетали один за другим незаметно. Издалека, с полей, доносились гудение молотилки и шум комбайна: углежоги распознавали их по звуку.

 В одну из ночей ощенилась Найда. Мишка, по обыкновению, наблюдал за угольными кучами, когда вдруг заметил, что Найда забилась под крыльцо, стараясь укрыться поглубже за ступеньками. Он осторожно, чтобы не вспугнуть суку, издали кинул ей охапку соломы, а на заре разбудил напарника.

 — Эй, Андраш, вставай! У нас прибавление семейства.

 — А? Что? — вскинулся тот.

 — Глянь-ка под крыльцо.

 Андраш вскочил и, как был, босиком выбежал наружу.

 — Не суйся близко. Рычит, будто сроду нас не видала.

 Найда даже Андраша не подпустила к своему логову, так что ему не удалось рассмотреть щенят.

 На другой день Мишку отозвали в село: требовалось протопить овин: Чужак с Найдой и слепыми кутятами остался на заимке — дожидаться, пока выгорят дрова, и выбрать из ям готовый уголь.

 От зари до зари с полей доносился отдаленный гул уборочных машин. Чужак не хотел слышать и все же невольно прислушивался к этим отзвукам многолюдной жаркой страды. На душе оседали обида и горечь. Поначалу все складывалось не по его желанию, но теперь он и сам предпочел бы держаться в стороне от людей. «Радоваться надо, что так сложилось, — подбадривал он себя. — Одному даже лучше, чем вдвоем». Оно бы и верно, вот только одно непонятно: что его заставляло без конца твердить себе эти самоуговоры?

 Собака со щенятами под брюхом молча лежала в логове и лишь глазами или чуть заметно вильнув хвостом благодарила за еду.

 Работа подошла к концу. Теперь дело было за возчиком: забрать готовый уголь, инструменты, ну и, наконец, прихватить самого углежога. Щенят он всех оставил в живых, рассчитывая столковаться с Евсеем, когда переедет в село.

 Медленно тянулись день за днем. Очевидно, в самый разгар страды всем было не до него.

 Да он и не жалел об этом, подыскав себе полезное и спокойное занятие: вытесывать топорища из ровного, без сучков, березового чурбака. Топорища получались ладные, хорошо ложились в ладонь: тогда вся сила лесоруба приходилась на острие топора. Только плотник или лесоруб способен по-настоящему оценить такое вот сноровисто вытесанное топорище. Вдобавок ко всему эта работа хорошо оплачивалась. Осколком стекла, найденным возле сруба, чужак ровно отскоблил рукоятки, а окончательно отполирует их жесткая, натруженная ладонь человека. Приготовил он подарок и для Мишкиной жены: две толкушки для картофеля — одну маленькую, другую побольше — и берестяную солоницу. Теперь он мог спокойно отлучаться от потушенных угольных ям и во время своих блужданий по тайге приглядел штук пять березок, верхушки которых как нельзя лучше годились для сенных вил. Вместе с Мишкой они постоянно высматривали подходящие развилки у верхушек берез — с вилами в хозяйстве было туговато, — и вот лишь теперь, бродя в одиночку, он наткнулся на нужные заготовки.

 Сидя на ступеньке крыльца, он вырезал вилы, с помощью распорок и бечевки придавал им должную форму и складывал на крыше для просушки.

 Миновала неделя, а возчик за углем все не ехал, и снабжать чужака едой тоже никто не торопился. Хорошо еще, что пока оставалась картошка, да мука и соль тоже не вышли. Он пек лепешки, варил похлебку. Собаку кормил три раза на дню.

 В лесу пошла земляника и дикий мед попадался, но не мужское это занятие — кланяться каждой ягодке, да и как-то не тянуло на лакомства.

 Он придумал себе новое дело: собирал мох на самом дне распадка, там, где родниковая вода растекается тоненькими ручейками. Наполнив пышными, упругими подушками мха мешок из-под картошки, он носил его к дому и заостренной деревянной лопаткой конопатил зазоры и щели меж усохших бревен. Как знать, вдруг да придется тут зимовать, если он и вправду заделается лесничим.

 В один прекрасный день Найда подпустила его посмотреть щенят. Каштановые, в черных пятнах, плотные, пушистые клубочки — жаркие, слепые сгустки жизни. Он погладил малышей. Найда лизнула ему руки, ее глаза говорили: «Я тебе доверяю».

 Он сидел, как обычно, на верхней приступке, вырезывая очередную поделку. Внизу, под крыльцом, возились и пищали щенята. Вдруг Найда сердито зарычала, почуяв чужих: сквозь заросли деревьев и кустарников к заимке пробиралась ватага ребятишек-школьников. Вскоре отчетливо донеслась их перекличка. Обилие земляники, видимо, задержало их, потому что они еще не скоро появились на полянке перед домом.

 Ребятишек было пятеро, у каждого в руках ведерко, но ведерки легко раскачивались на ходу: похоже, ягоды уже отправились в рот. Паренек постарше хотел было подойти поближе, однако злобное рычанье Найды удержало его.

 — Дядя Андраш, вам велено передать, чтобы вы сегодня же перебирались в село. Вам дадут трех лошадей, а то зерна так много намолотили, что некому возить, — залпом, словно заученный урок, выпалил мальчонка.

 — А что с углем делать, не сказали?

 — Сказали! — бойко отозвался мальчик. — Прикройте его ветками, а если солома найдется, то соломой. Сейчас и сено-то убирать некогда.

 — Мука, картошка, инструмент разный… С этим-то как быть?

 Паренек, как видно толково проинструктированный, тотчас же ответил и на этот вопрос:

 — Оставьте тут, дядя Андраш, все равно некому взять. А дом заприте на засов.

 — Ну что ж, ладно, — сказал чужак. Его тревожила участь Найды и щенят. Разве ей под силу унести четверых детенышей? До села добрых пятнадцать километров. — Ладно, — машинально повторил он, понимая, что дела обстоят куда как не «ладно», но ведь не станешь обсуждать их с пацаном. Впрочем, у него же будут лошади, а значит, он сумеет приехать за Найдой и кутятами. — Ладно, — в третий раз сказал он.

 — Дядя Миша велел передать, чтобы вы жили у него.

 Тут подошли и остальные ребятишки, на ходу лакомясь собранной земляникой.

 — Спасибо.

 — Председатель сказал вчера на собрании, что вам, дядя Андраш, дадут пустую избу, — продолжал парнишка. — Ну а дядя Миша от себя наказал, чтобы вы шли прямо к нему.

 — Там видно будет, — задумчиво произнес чужак и перевел разговор на другое: — Ну как, много земляники набрали?

 — Угощайтесь, дядя Андраш, — предложил паренек.

 — У меня возьмите, — подхватил второй.

 — И у меня! — воскликнул третий.

 — Пусть дядя Андраш у каждого возьмет! — потребовал самый меньшой мальчонка.

 — Этак вы меня закормите, — усмехнулся чужак и заглянул в ведерки. — Да у вас у самих кот наплакал! Не совестно такую малость домой нести? Ай-ай-ай…

 — По дороге сюда в рот клали, а на обратном пути в ведерко соберем, — пояснил паренек с белыми как лен вихрами.

 Чужак взял из каждого ведерка по ягоде.

 — Благодарствую.

 — Дайте какую-нибудь посудину. — Старший из ребятишек приготовился отсыпать земляники из своего ведра.

 — Да она тут, в тайге, обсыпная! Что набрали, несите лучше домой, матери! — с улыбкой отказывался Андраш.

 — А это дядя Миша вам прислал, — старший парнишка вытащил кисет махорки.

 Ребятишки ушли. Из леса долго слышались их звонкие голоса.

 Чужак засуетился. Первым делом тщательно прикрыл уголь густыми березовыми ветками так, чтобы дождь стекал поверху, не попадая внутрь. Затем наварил целое ведро картошки и рассыпал ее по полу, чтобы побыстрее остыла, а тем часом сварганил ведро жидкой похлебки, перелил в щербатую посудину и тоже поставил остудить. Пустые мешки из-под муки и картошки повесил на крючья под балкой, куда мышам не добраться. Лопаты, топоры, пилу и ведра он занес в дом, а остывшую картошку и миску с похлебкой выставил у логова Найды. Теперь оставалось закрыть дом. Из жердин он смастерил по старинному охотничьему способу хитроумное устройство: ежели посторонний, не сведущий в таежных обычаях человек вздумает проникнуть в дом, то своей неумелой возней лишь глубже задвинет засов. На первый взгляд дверь была закрыта неплотно, оставляя щель в палец шириной, однако справиться с задачей мог лишь тот человек, кто знал, с какой стороны подступиться к задвижке. Обычный замок плевое дело сбить, а вот охотничьему засову ничего не сделается, разве что грабитель разнесет всю дверь топором.

 Собака поняла, что он собирается уходить. Она вышла из своего убежища и, положив голову на вытянутые лапы, следила за его приготовлениями.

 Человек опустился на колени, погладил собаку.

 — Завтра за тобой приеду.

 Собака, вытянув шею, не спускала с него глаз.

 — Сама посуди, разве тебе одолеть дорогу с четверкой кутят? — оправдываясь перед нею, спросил он.

 Собака заскулила: это был ответ, вполне внятный.

 — Видишь, и добра-то всего ничего: одеяло, топор, барахлишко кое-какое, а руки заняты. Вот и ты смогла бы унести только одного…

 Собака плакала.

 — Я даже не знаю, где буду жить. Понятно тебе?

 Найда умолкла. Лишь глаза ее были влажными.

 — Как не понять? Неделю ты свободно продержишься на картошке с похлебкой. Да и поохотиться могла бы. Но тебе не придется думать о еде… Завтра же буду здесь… — Он поднялся. Сунул за пояс топорик, перекинул через плечо узел с вещами. Но тут же снова опустился на колени погладить Найду. — Нелепость какая получается! Да я завтра же за тобой приеду! Ты у меня будешь первой гостьей. Жить мы станем отдельно, своим домом. Ежели согласишься, можем и кошку завести. Ладно? А то обоснуемся тут, на заимке, тоже поди не худо!

 Собака лишь смотрела на него тоскливыми, влажными глазами.

 — Ясное дело, сейчас тебе не понять. Ну а потом увидишь и сразу поймешь. — Он встал, отряхнул колени и пошел. Собака следовала за ним шагов двадцать, а затем, поджав хвост, понурив голову, потрусила обратно к крыльцу.

 Чужак пробирался темным таежным лесом, бредя к селу. Мрак царил и у него на душе, густой, непроглядный… а он-то надеялся, что этому мраку давно уже не осталось там места.

 Спал он в доме у Мишки, если вообще можно было говорить о каком-то сне. Необходимо было как можно скорее завезти под крышу зерно — ведь от этого зависела дальнейшая жизнь всего села, каждого его жителя и самого чужака: потрудишься осенью на совесть — будешь целый год с хлебом. Вздремнуть со спокойной душой удавалось лишь на возу — умницы-лошади сами знали, куда везти.

 В первый же день, выкроив во время обеда полчасика, он осмотрел дом, где ему предложено было поселиться, однако ночевать поздно вечером снова явился к Мишке.

 Мишкина жена встретила его хорошо, лучше, чем можно было ожидать, судя по отдельным высказываниям старого углежога. И все же на заре, прежде чем запрягать лошадей, он попросил у председателя ключ от избы — пустой, заброшенной и слишком просторной для одинокого человека. Но ведь Найду не приведешь в дом к Мишке. Там хозяйничала Жучка, веселая, серая лохматка с черными глазами, которые Мишка называл «умильными». Характера она была дружелюбного, однако, кроме Мишки, никого не признавала, даже хозяйку дома. Нежданного гостя она обнюхала, и ей не понравилось, что он пахнет чужой собакой. Поэтому Жучка повела себя с ним очень сдержанно, к превеликой радости Мишки.

 — Небось-ка эту не приворожишь, не приманишь! — удовлетворенно сказал Мишка утром, когда они на минуту столкнулись с Андрашем: хозяин дома вернулся с ночной смены, а чужак торопился в поле.

 — Нет, не приманишь, — улыбнулся Андраш. — Эта привязана к тебе и знает, что ты ей друг и на ее шкуру не польстишься.

 — Живодер я, что ли! Зато Евсей горазд языком трепать: «Собака — лучший друг человека», это он летом твердит. А зимой торгует собачьим салом, против чахотки, говорят, помогает. Тьфу, окаянный!

 У Мишки наготове была очередная история к случаю, однако Андрашу некогда было слушать.

 Следующий день прошел в напряженном труде: чужак перевозил пшеницу на трех подводах сразу. Как назло, пошел дождь, комбайны остановились. Тем скорее нужно было перевезти под крышу все зерно, что было свалено под открытым небом. На третий день, направляясь на работу, он встретил у калитки Мишку, которого буквально шатало с недосыпу.

 — Вот что, Михаил, — остановил его Андраш, — выдай мне в счет моей доли меру зерна. Вечером я привезу Найду.

 — А с Евсеем столковался?

 — Нет. Я его даже не видел. Но ты все же приготовь мешок. Пусть все будет, как я обещал.

 — Ладно. За этим дело не станет.

 Все возчики охотно согласились, когда он вызвался сделать последнюю ездку и привезти зерно с самого дальнего поля. Оттуда, от таежной опушки, до избушки углежогов было всего пять километров. Поздно вечером подъехал он к куче зерна, укрытой соломой. Тут было безлюдно. Костер сторожа светился вдалеке, на другом краю поля. Двум лошадям он подвязал торбы с овсом: чтобы не разбредались по полю и чтобы не попортили себе брюхо, накинувшись на рожь. Третью, самую резвую лошадь погнал к заимке.

 Отыскать таежную дорогу оказалось не так-то легко. И на конское чутье тут надежды не было — лошадь не знала пути на заимку и, не вникая, шла, куда правили. Но когда они в темноте все же выбрались с пахоты на проторенную дорогу, лошадь спокойно и уверенно пошла по невидимой людскому глазу колее, меж зарослей кустарника, под сенью дерев, смыкающихся кронами над дорогой. Лишь когда телега въехала на вершину холма перед заимкой, стало чуть посветлее.

 По-прежнему моросил дождь. Черные с желтыми краями облака гнало по небу, и в проблесках между ними показывалась желтовато-зеленая луна. Мрачно темнела молчаливо затаившаяся избушка.

 Чужак попридержал лошадь. Прислушался, ждал. Пора бы уже собаке выбежать или подать голос — залаять, заскулить, все равно… Он сильно натянул вожжи, чтобы лошадь не шарахнулась, если вдруг Найда выскочит из кустов. С этой собаки станется…

 Ветер дул со стороны избушки, значит, Найда не чует запаха. Должно быть, поэтому она и затаилась, не выбежала навстречу, не подает голос…

 — Н-но, — он стронул лошадь. Руки его, державшие вожжи, дрожали. «Теперь уж должна бы отозваться, ведь чует, что по ее душу приехали».

 К тому моменту, как поравняться с избушкой, он уже точно знал, что логово Найды пусто. Он развернул телегу у крыльца, чтобы лошадь поняла: дальше они не поедут, и остановил почти у самых ступенек.

 Он слез с телеги, опустился на колени. Просунул руку в черную пустоту под крыльцом. Солома была остылой.

 Он чувствовал, знал, что поиски его напрасны, и все же хотел убедиться воочию. Поднявшись на ноги, взглянул на дверь дома. Дверь была не тронута, он хорошо видел это при свете луны, проглянувшей из-за туч. Он взошел по ступенькам. Две доски посреди крыльца были выломаны. Он чиркнул спичкой: блеснули здоровенные гвозди в выдранной из настила доске. Теперь все стало ясно: отсюда, сверху, собаке накинули петлю на шею и вытащили наружу.

 Он приладил доску на старое место, спустился с крыльца, сел на телегу. Вожжи привязал к передку — лошадь шла без понуканий.

 Когда он нагрузил все три телеги и вернулся в село, уже занялось утро. Измученный, подавленный, брел он к месту ночлега. У калитки он снова столкнулся с Мишкой, который возвращался с гумна.

 — Мешок тебе приготовлен, у печки стоит.

 — Не надо.

 Мишка пожал плечами.

 — То ему надо, то не надо. Не поймешь, что за человек! — укоризненно качал он головой.

 — Завтра все объясню.

 — Как знаешь. Мое дело — сторона.

 — Найду украли. Взломали на крыльце настил и вытащили ее.

 Комбайны стояли, лошадям был дан отдых. Лишь грузовики сновали туда и обратно, свозя зерно под навес перед амбаром. Время до обеда тянулось медленно. Мишкина жена выставила чужаку угощение: жареную картошку, простоквашу, чай.

 — Эк тебя озноб-то колотит, Андраш, — сказала старуха, видя, что он дрожит, сидя возле раскаленной печки.

 — С недосыпу, — пояснил тот и, чтобы избежать дальнейших расспросов, вызвался отнести Мишке обед.

 Мишка оживился при виде узелка со снедью.

 — Присаживайся, бери ложку.

 — Меня уже накормили.

 — А не врешь?

 Чужак мотнул головой.

 В печи под сушилкой ярко горели толстенные дровяные поленья. Снаружи под навесом тарахтела веялка, скребли деревянные лопаты, подгребая зерно, пыхтел мотор, раздавался девичий смех, звучали мужские голоса, доносились звуки перебранки, резкие женские восклицания и дружный людской хохот.

 Вдруг наступила тишина. Мотор остановился. Девки и бабы гурьбой ввалились в сушилку и расселись вокруг печи.

 — Дядя Миша, пусти погреться, — попросила бойкая молодка.

 — Лопатой бы проворней шуровала! Оно надежней, чем от такого старого пня, как я, сугреву ждать, — засмеялся Мишка.

 В этот момент к чужаку подошла какая-то дородная баба:

 — Найдина шкура сушится на чердаке у Евсея.

 — Это Варвара, — поспешил вмешаться Мишка. — Та самая, что видела, как ты с арестантами якшался.

 — И вовсе я не говорила, будто видела. А вот если к Евсею на чердак заберешься, сам убедишься, что я правду сказала.

 Чужак ни словом не отозвался. Лишь лицо его было бледнее обычного.

 — Да будет вам языками трепать! Шли бы лучше работать, — раздраженно воскликнул Мишка.

 Девчата знай себе пересмеивались. Варвара, растолкав их, уселась на лежанку и, словно сделав свое дело, теперь помалкивала.

 Когда мотор снова затарахтел и бабы убрались восвояси, Мишка обратился к молча сидящему товарищу:

 — Не было у тебя собаки и нет. Баста! Жучка ощенится, любой из щенков будет твой.

 — Не надо мне.

 — С Евсеем не связывайся.

 — Оставим этот разговор!

 — Я тебя по дружбе прошу: не принимай близко к сердцу. Да и Варвара эта… Хлебом ее не корми, только дай посплетничать. Оттого она и толстая такая!

 Чужак кивнул.

 Мишка с беспокойством всматривался в его лицо, затем махнул рукой. Подправил огонь в печи и подбросил толстенных длинных поленьев.

 Дождь прекратился, ветер чуть подсушил дорогу. «Запрягай!» — послышалась в стороне команда. Чужак поднялся и пошел к лошадям.

 У конюшни стоял Евсей — чисто выбритый, умытый, даже физиономия была еще розовой. Он зашагал прямо к чужаку.

 — Значит, собаку мою ты упустил?

 — И так можно сказать, — тихо отозвался чужак.

 — Можно сказать и так, и этак, а я тебе одно скажу: изволь-ка уплатить мне за убыток! — Тонкий и злой голос Евсея срывался на визг.

 Два-три возчика подступили поближе, еще сами не зная, отведена ли им роль зевак, или же придется вырывать Евсея из рук чужака.

 Но тот не шелохнулся и не ответил Евсею.

 — Давай-ка раскошеливайся! Я требую, чтобы ты уплатил!

 — Кто убил собаку? — спросил чужак. Спросил тихо, и все же Евсей попятился. Отступив на безопасное расстояние, он снова перешел на крик:

 — Это уж тебе лучше знать, раз ты хозяином над ней назвался! — Затем, напустив на себя хладнокровный вид, добавил: — Говорят, ее сверху петлей вытащили. Выходит, чужой кто-то был?

 — Ты тоже для нее стал чужой. Так что вполне могло быть твоих рук дело.

 — Слышали, что он несет? — Евсей обратился к окружающим. — Я, вишь ты, для Найды чужой! Хороша шутка, нечего сказать! — С резким смехом он уставился в глаза чужаку.

 Наступило долгое-долгое молчание. Евсей даже побледнел, дожидаясь ответа, но не стронулся с места. Возчики стояли в нерешительности.

 — Поговорили, и будет. — Голос чужака звучал хрипло. — У Михаила приготовлена мера зерна. Можешь взять.

 — Не надо мне зерна! Ты мне за собаку деньгами плати.

 — Хватит, Евсей! Заткнись, слышишь? И уноси отсюда ноги, да поживее! — не выдержал один из возчиков помоложе. — А не поспешишь убраться, то от меня получишь свой должок, ежели этот человек, бог весть почему, стесняется. — И он сунул под нос Евсею увесистый кулак.

 — Только вас, сопляков, тут не хватало, — хорохорился Евсей, видя, что два других возчика схватили товарища и крепко держат его за руки. Чужак первым покинул сборище. Подошел к лошади, набросил на нее уздечку и повел послушную животину к телеге.

 Уборочная еще не успела закончиться, как Евсея назначили заведующим птицефермой, а чужака — лесничим. Андраш отказался от предложенного ему дома и испросил разрешения поселиться на заимке, где летом жили углежоги.

 — Ну ты и учудил, дурная голова! — корил его Мишка.

 — Зимой там будет еще лучше, чем летом.

 — Вернее сказать, там и летом-то далеко не благодать. В жару от комаров и мошки спасу нет, а зимой от белых мух да от студеных ветров натерпишься.

 — В лесу всегда затишье, какие там ветры.

 — А хоть бы и так — морозов, что ли, мало? Запугивать тебя не стану, выдержать, конечно, можно. Только ведь зимние сумерки такую тоску нагонят, и дорогу заметет — ни проехать, ни пройти, как в тюрьме очутишься. А лошади от волков покоя не будет…

 — Ничего не поделаешь…

 — Может, с нечистой силой спознался? Неужто тебе люди так опостылели? — спросил Мишка, стараясь выдать свои слова за шутку.

 — Не в том дело, Миша. Это люди не хотят со мной знаться.

 — Ты сам виноват!

 — Не будем об этом спорить.

 — Я и не спорю. А то еще напустишь порчу!

 — Будь у меня такая сила, уж я бы ею воспользовался. Только я бы ее на другое употребил…

 — Ты что, шуток не понимаешь?

 — Понимаю. Хотя в моем положении ничего удивительного, даже если бы и не понимал.

 Мишка только головой покачал.

 И чужак обосновался на заимке. Набрал по селу кирпичей, добавил глины и сложил печурку. Первый же осенний ветер в точности обозначил места, где следовало проконопатить мхом.

 В село он наведывался изредка. Полученное на трудодни зерно хранил у Мишки и брал по частям, когда кончалась мука и надо было ехать на мельницу. В таких случаях он заодно заглядывал в магазин и в сельсовет.

 Хлебы пек себе сам, пол по субботам отскабливал дочиста. Дров хватало, растопки было и того больше: он мастерил топорища, оглобли и полозья к саням.

 Теплый подпечек обжили кролики — Мишка как-то привез в подарок самца и самку.

 Мишка не упускал случая заглянуть к приятелю. Возил ли с поля солому, выбирался ли за сеном или за дровами — всегда делал крюк, чтобы заехать на заимку. Ну и конечно, выбирал подходящий денек — солнечный, морозный, когда крепкий наст скрипит под полозьями. И всякий раз запрягал чалую лошадь, которая все лето пробыла с ними в тайге. Отогревшись в жарко натопленной избушке, Мишка пускался в долгие беседы с приятелем. О том, что пишут в газетах, и о том, что толкуют на селе. Об очередных россказнях Варвары, о войне, о колдунах и о священниках. И даже о Евсее, которого уже успели прогнать с должности: заведующий птицефермой попался на краже яиц. Приятели условились, что по весне опять подрядятся на пару жечь уголь. Лишь о собаках и о прошлом промеж них никогда не заходило речи.

 Мишка был не единственный гость на таежной заимке. Сюда заходили обогреться лесорубы, а в пургу, в непогодь зачастую оставались и переночевать.